

Энн Тайлер

# Блага земные

# Блага земные

## Энн Тайлер, М. Тугушева

Аннотация
Энн Тайлер. БЛАГА ЗЕМНЫЕ
Предисловие
Глава 1
Глава 2
Глава 3
Глава 4
Глава 5
Глава 6
Глава 7
Глава 8
Глава 9
Глава 10
Глава 11
Глава 12
Глава 13
Глава 14
Глава 15
Глава 16

## Аннотация

Роман «Блага земные» впервые знакомит советского читателя с творчеством талантливой американской писательницы Энн Тайлер. Занимательность сюжета, динамичность повествования, точность психологического рисунка, острота поставленных в романе проблем современного буржуазного общества — брак, семья, любовь, долг и мораль — вызывают живой интерес, делают книгу увлекательной и глубокой.

Anne Tyler
EARTHLY
POSSESSIONS

New York 1977

# Энн Тайлер
# БЛАГА ЗЕМНЫЕ

Роман
Перевод с английского

Москва
«Прогресс» 1980

# *Предисловие*

Литературная судьба Энн Тайлер (род. в 1941 г.) сложилась благополучно. Ее заметили сразу, еще в 1964 г., когда вышел первый роман двадцатидвухлетней работницы библиотеки — «Если утро когда-нибудь настанет». Одна из рецензий констатировала появление «прекрасной книги», принадлежащей, по-видимому, «редкостно одаренному» писателю.

За первым романом последовали еще пять, и снова были хвалебные рецензии, в которых нередко повторялись эпитеты «магический», «волшебный», «колдовской». Не следует думать, конечно, что Энн Тайлер — приверженка «магического реализма», якобы возникшего в литературе США. Тайлер — реалист традиционный, она пишет просто, даже очень просто, о самых обыкновенных делах ничем не примечательных людей, но читать об атом интересно: простота и безыскусственность ее прозы слиты с большим изобразительным талантом — так живо, зримо воспринимает читатель все, о чем рассказывает писательница, будь то человек, пейзаж или ми-

молетное настроение.

Но у книг Энн Тайлер есть еще одно достоинство: они современны и позволяют судить о жизни сегодняшней Америки. Не той баснословно богатой, суетной, пораженной психозом ненасытного приобретательства, а — тихой, провинциальной, о которой все чаще вспоминают американские писатели: пример тому — известные в нашей стране романы Джона Гарднера.

Тайлер вошла в американскую литературу в 60-е годы на волне «молодежного романа» — так тогда называли произведения о молодом поколении Америки, создаваемые молодыми же писателями. Возникла эта литература не случайно: в начале 60-х годов часть американской молодежи выступила по признанию американских социологов и историков общества, носительницей «нового сознания». Она принципиально отвергала грубо-деляческий, эгоистический интерес и расчет, выступала против политической коррупции, расовой дискриминации, утеснения свободы и демократии и прежде всего войны во Вьетнаме. Перед молодым думающий американцем вставала насущная проблема: как сочетать кредо свободы с поддержкой диктаторского режима во Вьетнаме и стремлением силой оружия

поставить чужой народ на колени, как жить в обществе, где не соблюдаются конституционные гарантии равенства и беспредельного развития способностей независимо от цвета кожи? Молодая Америка 60-х годов, и прежде всего ее студенчество, оказалась в эпицентре социальных расовых и политических бурь. Вопреки сложившейся традиции часть молодежи стала отрицать и «радости потребления», утверждать главенство нематериальных ценностей жизни: красоты природы, музыки, духовного общения, ответственности за происходящее. Все чаще и чаще молодежь помышляла о том, чтобы найти достойную цель жизни и идти к ней достойно, не обкрадывая себя и думая о других. Именно тогда вспомнили о девизе американских писателей-романтиков и провозгласили его своим идеалом: «скромная жизнь и высокие помыслы».

Уже в первом романе Энн Тайлер ненавязчиво, но вполне определенно заявила о своей причастности к этим проблемам. Правда, ее героя — Бена Джо Хокса — совсем не волнуют политика и общественные дела. Он студент, и его заботит учеба: так много надо узнать, так много проштудировать, чтобы вернуться в родной городок дипломированным юристом. Тем более что —

семья у него большая: эксцентричная бабушка, одинокая мать (отец незадолго до смерти бросил ее) и пять сестер. Бен Джо чувствует ответственность за них. Ему постоянно кажется, что они утаивают свои неприятности из боязни его расстроить и письма присылают какие-то скучные: Сюзанна работает библиотекарем, ей наконец прибавили жалованье; подростки-близнецы Тесси и Лайза уже подумывают о губной помаде. Старшая сестра Дженнифер помышляет только о делах: у семьи есть маленькая лавка, она и дает средства к существованию. Однако все это мелкие будничные заботы. Они поглощают энергию, радость жизни, порой вселяют равнодушие и безучастность друг к другу. Но вот происходит событие — средняя сестра Джоан оставила мужа и с маленькой дочкой вернулась к матери. Джоан, наверное, нуждается в утешении. Бен Джо бросает занятия и едет домой, но приезд его только удивляет мать и сестер, и в утешении никто не нуждается — Джоан тоже. Она вполне весела и легко заводит флирт со старым знакомым. Потом приедет ее муж и увезет жену с дочкой домой, но Бен Джо этого уже не увидит. Разочарованный и непонятый, он вернется в Нью-Йорк, правда не один, а с девушкой Шейлой, которая давно в него

влюблена. Сам Бен Джо ее не любит, но любовь и привязанность не должны пропадать втуне, думает он, возвращаясь в Нью-Йорк и глядя на спящую Шейлу. Они поженятся. Шейла может быть спокойна: на него, Бена Джо, можно положиться, ведь главное — не приобретать, а давать. Так герой Энн Тайлер начинает понимать смысл и назначение жизни, чего раньше не понимал и поэтому жил «как во сне», «как в тумане».

Следующие романы Энн Тайлер, написанные, за единственным исключением, уже в 70-е годы, в сущности, развивают ту же тему — необходимости гуманных связей между людьми. Критика отмечает все возрастающее мастерство писательницы, ее умение «развернуть характер». Все чаще в романах Энн Тайлер появляются странные люди, лишенные определенного, прочного места в мире. Их вечно манит неизведанная даль, желание отправиться странствовать по Америке. Так в творчество Э. Тайлер вошла другая традиционная тема — тема «дороги», тяги к природе, к простой, здоровой жизни, в которой нет места мелочным, корыстным интересам. Дорога была символом освобождения от зла и скверны уже у американских романтиков и позже: у Г. Мелвилла такой «дорогой» был океан, у М. Твена

— Миссисипи, у Дж. Лондона — Клондайк и Юкон. Вновь проявилась эта традиция в американской литературе 50-х годов, например у Дж. Керуака, который живописал племя бродяг, только теперь они назывались уже не «хобо», как у Лондона, а «битниками».

Пускаются в странствие и герои романа Энн Тайлер «В поисках Калеба» (1976). Глубокий старик Дункан Пек, выходец из состоятельной, респектабельной семьи, отправляется вместе с сорокалетней внучкой Джюстиной на поиски брата Калеба, который в далекой молодости внезапно исчез из дому, отказавшись от обеспеченного существования. В конце концов Джюстина находит Калеба в доме для престарелых, куда его за ненадобностью сдала невестка. Сначала Джюстина очень внимательна к старику, пока у нее вдруг не возникает сомнение, а тот ли это Калеб, который когда-то неизвестно почему бросил дом, родных и пропал? Она без обиняков выкладывает ему свои подозрения и раскаивается потом, но уже поздно. Калеб, превыше всего ценящий свободу и независимость, еще раз, но уже старый и немощный, утверждает свое право жить так, как ему велит совесть — в непричастности ко всякого рода эгоистическим соображениям. Он снова воз-

вращается в дом для престарелых, отказываясь от обеспеченности и комфорта. Но самое удивительное — то, что происходит затем с Джюстиной. В ней — с давних пор назревает протест против заповеданной мудрости отцов, почему в молодости она выбрала странную и не совсем респектабельную профессию: она «предсказательница судеб», а попросту говоря, гадалка на картах. Теперь она и ее муж оставляют ферму, уютный дом, раздают вещи и, следуя примеру Калеба, пускаются в странствие по дорогам Америки.

В романах Тайлер есть ключевое слово «escape», что значит «освободиться», «бежать», «вырваться», «исчезнуть», в частности из привычного мира и обязательств, которые он налагает на человека. Так дважды «уходит» Калеб. Так «бежит» Джюстина. О таком-же «исчезновении» и освобождении от всех и всяческих обязательств и уз мечтает Шарлотта Эмори главная героиня романа Энн Тайлер «Блага земные» (1977).

Шарлотта — «мадам фотограф». Она начала работать, когда заболел отец, и после его смерти содержала себя и мать, хотя и мечтала учиться в колледже. Ей все время приходится от чего-нибудь отказываться, она не знает, на что может рассчитывать, а на что не имеет права. Не знает

даже, родная ли она дочь, своих родителей. Но если Шарлотта «ничья», то почему бы ей не уйти куда глаза глядят; как это было однажды в детстве, когда ее поманила незнакомка. И еще раз она пыталась «бежать», уже выйдя замуж за Сола Эмори. К разочарованию Шарлотты, он внезапно решил стать проповедником, но для нее это значило отказаться от надежд на «путешествие»), освобождение из «западни» будней и нелюбимой работы.

А кроме того, Шарлотта совсем не религиозна. Напротив, она считает, что религия не способна разрешить тяжкие проблемы бытия, уводит в сторону от их решения, примиряет с безысходностью и «предопределенностью» человеческих судеб. Сол Эмори добр, но своим прихожанам он дарит иллюзию вместо правды, внушая им, что все в конце концов зависит от воли божьей и в этом благо и утешение. Шарлотта считает иначе. Она стремится к истине, пусть даже совсем неутешительной. Шарлотта может быть честна до жестокости — с собой, мужем, умирающей матерью. Она смутно ощущает: надо везде и во всем оставаться честной, только тогда можно определить свое отношение к миру, найти в нем свое место, свое предназначение. А пока она тоже (как

это было с Беном Джо) бродит в тумане, «спит» наяву. И странные вещи происходят с нею в этом сне. Поддавшись искушению, она изменяет мужу, а Сол страдает и молчит. Почему? Не только потому, что пассивен и во всем полагается на волю божью. Он понимает, что в безвольном следовании «кривой» импульса, сиюминутною желания — своеобразная философия человека, который привык жить, подчиняясь воле обстоятельств, не умея утвердить свою «линию» в жизни, и тем глубоко несчастен.

Заветное желание Шарлотты все-таки исполняется, она отправилась в путешествие, но в несколько необычных обстоятельствах — заложницей человека, решившего ограбить банк. Как ни странно, грабителю, Джейку Симмсу, удалось вместе с Шарлоттой сесть в автобус и уехать из городка Клариона; никто и не подумал остановить подозрительную пару, потому что они всем безразличны. Шарлотта не пытается позвать на помощь, это бессмысленно: «окружающие примут ее за сумасшедшую… притворятся глухими», да она и «не из тех, кто кричит». Ее охватывает чувство обреченности: ведь теперь бежать, «исчезнуть», освободиться совсем невозможно. Но постепенно безнадежность уходит, и Шарлотта

довольно спокойно размышляет о своей прошлой жизни и над тем, что теперь предстоит. И вдруг приходит понимание: как ни странно это необычное путешествие, но это и есть избавление, о котором она так долго мечтала, «избавление от людей».

Внимательно разглядывает она своего похитителя. Между ними возникают доверительные отношения, насколько это возможно в подобной ситуации. Во всяком случае, Джейк Симмс рассказывает ей свою историю неудачника и изгоя, которого, как и самое Шарлотту, тяготит пребывание на одном месте: «Терпеть не могу спокойной жизни; сидишь в каком-нибудь доме, связан по рукам и ногам, жена, дети, золотые рыбки…» С удивлением замечает Шарлотта, как, в сущности, похожи она, супруга проповедника Эмори, и молодой человек, уже побывавший за решеткой. Но он вовсе не преступник, пытается убедить Джейк Шарлотту. Все его незаконные деяния происходят потому, что он «жертва импульса»: «Это все обстоятельства… События ускользают из-под моего контроля». Совсем как у Шарлотты, которая, став жертвой чужого «импульса», невольно задумывается о том, что эта «дорога» может завести весьма далеко…

А чужая машина, которую ему удалось угнать, поглощает километры. Оказывается, они едут во Флориду. Там в приюте для незамужних матерей пребывает подружка Джейка — Минди. Нет, Джейк не любит Минди, но он не мог допустить, чтобы его сын родился «в тюрьме». Необходимо добыть денег на дорогу. Но как? На работу его не берут. Значит, один путь — украсть. Вот тогда и возник отчаянный план ограбления и угона чужой машины. И все удалось, только на руках оказалась заложница. Впрочем, она симпатичная женщина и странно похожа на него, такая же неприкаянная, не может выносить тихой жизни с «золотыми рыбками». Он даже по-своему одобряет желание Шарлотты «путешествовать», «вырваться»: «По крайней мере ты избавилась наконец от своего чудовища мужа, от этой уродливой цветастой кушетки и дурацкой старомодной лампы с бисером (все это он успел рассмотреть на экране телевизора в закусочной, во время передачи из дома Шарлотты, потому что уже начались поиски пропавшей. — *М. Т.*). Нет, меня в такую клетку не засадишь. Радоваться надо, что вырвалась оттуда. Еще будешь благодарить меня». Но у Шарлотты, кроме «дурацкой лампы с бисером», мало что осталось. Дело в

том, что ее тяготят не только люди, ее угнетают лишние вещи, и она раздает или выбрасывает, к удивлению и недовольству домашних, ковры, шторы, мебель. Такая уж она, эта Шарлотта Эмори, пополнившая собой галерею странных людей Энн Тайлер. Странных и, пожалуй, нетипичных для современной Америки, может подумать читатель. И ошибется. Нельзя не учитывать ту переоценку устоявшихся ценностей, которая началась в сознании американцев в 60-е годы, когда образу жизни отцов — «приобретателей» часть молодого поколения пыталась противопоставить отказ от материального благополучия и соблазнов обеспеченности. Здесь коренится духовная родословная героев Энн Тайлер. В образах Шарлотты и Джейка Симмса она зорко уловила современную модификацию национального литературного героя, «пионера», который мечтал когда-то о земле свободных, счастливых и равных. Но он также мечтал и о накоплении «земных благ» — необходимом условии успеха, как он полагал, — и эта мечта чем дальше, тем больше ассоциировалась в сознании его компатриотов с индивидуалистическим обогащением любыми средствами. Против этого «торгашеского духа», против власти вещи над человеком, его судьбой и

свободой и восстают «неприкаянные» герои Энн Тайлер, у которых в американской действительности 60-х годов было немало прототипов.

Известно, что многие из американских «бунтарей» вернулись на исходе 60-х годов в лоно конформистского буржуазного существования. На первый взгляд, Шарлотта и Джейк тоже смиряются с общепринятым стереотипом жизни. Во всяком случае, так, очевидно, будет с Джейком, который женится на Минди, заведет собственный домик с пышными занавесками «присцилла», о которых мечтает его подружка, и не сумеет стать хозяином своей жизни и поступков. Вернется домой и Шарлотта. Но ее возвращение не то что у Джейка: Шарлотта сама обретет власть над «обстоятельствами», когда под дулом пистолета, непокорная чужой воле, неспешно уйдет от своего похитителя, а он будет растерянно смотреть ей вслед и не посмеет выстрелить. Такая, новая Шарлотта может вернуться домой. Ее путешествие закончилось. Оно удалось, ибо она нашла собственную «дорогу» в жизни, тот единственный путь, которым и надо следовать, чтобы в конце его сказать: выбор был правилен.

Перемена коснулась и Сола. Теперь он иногда умолкает посреди проповеди, как будто не в си-

лах произнести слово примиренности и ложного утешения. Потом, ночью, лежа без сна, он спросит жену: «Может, нам стоит отправиться в путешествие?» Но Шарлотта ответит: «Не стоит… Мы путешествуем всю жизнь… Мы не можем остаться на одном месте, даже если бы и захотели». Все дело в том лишь, куда приведет «путешествие», эта бесконечная дорога самопознания.

Этим троим, в общем, повезло. И Шарлотта, и Сол, и Джейк всегда — знали, кто нельзя только «приобретать». Теперь они познали истину до конца: надо уметь «давать», то есть понимать другого и помогать ему, если он в этом нуждается. Для Джейка это значит понять, почему Минди хочет оставить ребенка, а не отдавать его чужим людям. Для Сола — понять желание Шарлотты освободиться от всего «лишнего», в том числе от иллюзий и пассивности, от сна, — несвободы души. Теперь сон рассеялся, сквозь «туман» проглянула правда жизнь, которую нужно мужественно принимать, потому что ведь легче жить не стало. Но и Шарлотта, и Сол обрели на пути самопознания истинное благо — желание жить в бедности, но в правде…

У Энн Тайлер уже прочная репутация талантливого, тонкого, вдумчивого художника, который,

по выражению известного американского писателя Рейнолдса Прайса, воссоздает в своих романах «картину американской жизни, реалистическую… и печально-забавную, жизни, которую ведем все мы». Прайс точно подметил особенность реалистического письма Тайлер — обаяние затаенной грусти, с которой она рассказывает простые истории о не такой уж простой жизни современной «одноэтажной» Америки.

*М. Тугушева*

# *Глава 1*

Семейная жизнь не удалась, и я решила уйти от мужа. Я пошла в банк взять денег на дорогу. В среду, дождливым мартовским днем. Улицы были почти пустынны, и в банке тоже всего несколько клиентов — ни одного знакомого лица.

Прежде я знала в Кларионе всех и вся, но потом открыли фабрику губной помады, и в город стал съезжаться незнакомый народ. Я была рада. Я прожила здесь всю жизнь, тридцать пять лет, целую вечность. Мне нравилось, что вокруг новые люди. Нравилось мне и в этом банке, где никто меня не знал и в очереди передо мной стоял незнакомец в строгом деловом костюме, а позади — кто-то в шуршащей нейлоновой куртке. Кассирша тоже незнакомая. Впрочем, может, это одна из дочерей Бенедикта, только уже взрослая. У нее совсем бенедиктовская манера говорить, то понижая, то повышая голос посредине слов.

— Какими купюрами будете получать, сэр? — спросила она стоящего передо мной человека.

— Пятерками и по одному доллару, — сказал он.

Кассирша отсчитала пачку пятидолларовых купюр, потом потянулась куда-то в сторону и достала несколько запечатанных коричневыми бумажными полосками пачек банкнотов по одному доллару. И тут из-за моей спины вынырнула нейлоновая куртка. Кто-то толкнул меня, кто-то споткнулся. Возникло замешательство. Нейлоновый рукав молниеносно перекинулся через мое плечо. Рука ухватила пачки денег. Я страшно разозлилась. Послушайте, собиралась я сказать, перестаньте хапать, я пришла сюда раньше вас. Но тут кассирша квакнула, и стоявший впереди человек повернулся ко мне, расстегивая пиджак. Полнеющий мужчина с надутым лицом, будто он с трудом сдерживает постоянное раздражение. Он пошарил у себя под пиджаком, вытащил какой-то похожий на обрубок предмет. Направил его в сторону нейлоновой куртки. Куртка была черная, по крайней мере рукав. Рукав резко отпрянул назад. Рука, не выпуская денег, обхватила меня за шею. Сперва мне это даже польстило. Я слегка отстранилась, чтобы дать место предмету, упиравшемуся в мое ребро. Почувствовала едва уловимый запах новых банкнотов.

— Если кто тронется с места, ей крышка, — сказала нейлоновая куртка.

Речь шла обо мне.

Мы пятились к выходу, его кеды скрипели на мраморном полу. Как при киносъемке, когда камера отъезжает назад, я увидела сначала несколько человек, а потом все больше и больше людей. Застывшие лица уставились на меня. Затем в кадр вошел мрачный, обшитый деревом зал Мэрилендского банка. Пятясь задом, мы выскочили за дверь.

— Беги, — скомандовал он.

Он схватил меня за рукав, и мы побежали по скользким мокрым тротуарам. Мимо человека с собакой, мимо одного из маленьких Эллиотов, мимо женщины с коляской. Казалось бы, сейчас они глянут на нас, но нет, ничуть не бывало. Я хотела было с разбега остановиться, попросить помощи у кого-нибудь, кто в силах меня защитить. Женщину с коляской — вот кого бы я выбрала. Но разве можно подвергать их такой опасности? Я же в карантине. Как тифозная… Я не остановилась.

Откровенно говоря, сначала я вообразила, что могу его перегнать, но он крепко держал меня за рукав и не отставал ни на шаг. Его ноги мерно, неторопливо шлепали по тротуару. А я уже задыхалась, висевшая на плече сумка колотила

меня по бедру, в туфлях хлюпала вода, и, когда мы пробежали два квартала, в груди у меня будто с треском распрямилась какая-то острая пружина. Я замедлила шаг.

— Не останавливайся, — сказал он.

— Не могу больше.

Перед нами был продуктовый магазин Формэна, уютный магазинчик Формэна с грушами, обернутыми в папиросную бумагу. Я остановилась и повернулась к нему. Невероятно. Мысленно я представляла его себе типичным злодеем, а он, оказывается, самый обыкновенный, спокойный парень с шапкой жирных черных волос, под бледно-серыми глазами — темные круги. Его глаза были на одном уровне с моими. Для мужчины он был маловат ростом. Не выше меня и гораздо моложе. Я воспряла духом.

— Так вот, — сказала я, задыхаясь. — С меня, пожалуй, хватит.

В его пистолете что-то щелкнуло.

Мы побежали дальше.

По Эдмондс-стрит, мимо старого мистера Линтикума, которого невестка в любую погоду усаживала на ступеньках крыльца. Мистер Линтикум улыбался; впрочем, он давно перестал разговаривать с кем бы то ни было, так что на

него — никакой надежды. По Трэпп-стрит, мимо кирпичного дома моей тетки с деревянными резными карнизами. Но тетка сейчас, наверное, сидит перед телевизором и смотрит программу «Дни нашей жизни». Резкий поворот налево — я и не знала, что есть такой переулок, — потом опять налево; пригнувшись, мы пробежали под высокими тонкими подпорками крыльца, где когда-то в детстве я вроде играла с девочкой не то Сис, не то Сисси, только я уже давным-давно не вспоминала о ней. Потом через посыпанную гравием дорогу к лесному складу — забыла, как он называется, — а оттуда еще по одному переулку. Здесь шел дождь, хотя всюду он уже перестал. Мы бежали как бы по коридору особой погоды. Я уже ничего не чувствовала, казалось, я бегу без движения, точно во сне.

Наконец он сказал:

— Прибыли.

Перед нами был черный ход низкого обшарпанного здания — перекошенные доски в море сорняков и коробок из-под хрустящего картофеля. Нет, мне это место совсем не по вкусу.

— Пошли к парадному, — сказал он.

— Но…

— Делай, что говорю.

Я споткнулась о банку из-под горчицы, такая громадная, хоть младенца в ней маринуй.

Представляете, как я удивилась, когда, выйдя к фасаду, обнаружила, что это всего-навсего закусочная Либби. Здесь же находились игровые автоматы и автобусная станция. Правда, нельзя сказать, что я бывала тут часто. Я не могла себе позволить питаться вне дома, не играла на автоматах и не путешествовала, но по крайней мере это было общественное место, и, глядишь, кто-нибудь из посетителей меня узнает. Я вошла в дверь, расправив плечо, высоко подняв голову. Внимательно оглядела комнату. Но здесь только и было народу что какой-то незнакомец, пивший у стойки кофе, да официантка, которую я тоже видела впервые.

— Когда отходит автобус? — спросил грабитель.

— Какой автобус?

— Ближайший.

Она взглянула на ручные часы, пристегнутые булавкой к фартуку на груди.

— Пять минут назад. Опаздывает, как всегда.

— Так вот, мне и ей — два билета до конечной остановки.

— И обратно?

— В один конец.

Она подошла к ящику, вытащила оттуда два рулона билетов и стала штемпелевать их резиновыми печатками, стоявшими возле кофеварки. Наверняка у нее не каждый день покупают билеты до конечной остановки на ближайший автобус любого маршрута. И наверняка она не каждый день встречает задыхающуюся, едва не падающую с ног от быстрого бега, растрепанную женщину в сопровождении незнакомца в черном (даже джинсы у него были черные, я только теперь разглядела, кеды и те черные — все, кроме режущей глаз неуместно белой рубашки). Казалось, она должна хотя бы взглянуть на нас! Но нет! Она так и не подняла глаз, и подбородок ее по-прежнему тонул в складках других подбородков, даже когда он положил деньги ей на ладонь. Она наверняка забыла о нашем существовании, едва мы закрыли за собой дверь.

Но успели мы дойти до обочины тротуара, как подкатил автобус, и не оставалось ни секунды, чтобы оглядеться вокруг в поисках знакомых. Хотя теперь я немного успокоилась. Непохоже, что он станет стрелять в меня при людях — даже при этих бездушных, бесчувственных пассажирах: половина спит с открытым ртом, какая-то стару-

ха разговаривает сама с собой, солдат прижимает к уху транзистор. «Моя жизнь как дешевая распродажа», — пела Долли Партон. Из сумочки на коленях у старухи раздавалось мяуканье. Нет, еще не все потеряно. Я опустилась на мягкое сиденье, и вдруг мне стало легко, словно я чего-то ожидала, словно я и вправду отправлялась в путешествие. Грабитель сел рядом.

— Веди себя нормально, и все будет в порядке, — шепотом сказал он (оказывается, он тоже немного запыхался).

Его рука потянулась к моим коленям. Рука была квадратная, смуглая. Что ему надо? Я отпрянула, но его интересовала всего лишь моя сумка.

— Она мне понадобится, — сказал он.

Я сняла ремешок с плеча и отдала ему сумку, он небрежно опустил ее между колен. Я отвернулась. За окном была закусочная Либби, водитель автобуса шутил на крыльце с официанткой, ребенок опускал в почтовый ящик письмо. А что там с моими детьми, спохватятся ли они, где я?

— Мне надо сойти, — сказала я грабителю. Он заморгал. — У меня дети. Я не договорилась, кто присмотрит за ними после школы. Мне надо сойти.

— А мне что прикажешь делать? — сказал он. —

Послушайте, мадам, если б все зависело только от меня, нас бы уже разделяли двадцать миль. Думаешь, я нарочно все это придумал? Откуда мне было знать, что какой-то болван вытащит пистолет? — Он скользнул взглядом по лицам спящих. — Теперь все, даже самые безмозглые, таскают с собой оружие. Если б не он, я бы и горя не знал, да и ты бы в целости и сохранности уже сидела дома с детишками. Таких типов, как этот, надо держать за решеткой.

— Но ведь мы на свободе. Вам же удалось удрать.

Мне было неловко: так откровенно, вслух говорить об этом — бестактно. Но он не обиделся.

— Поживем — увидим, — сказал он.

— Что увидим?

— Удастся ли им опознать меня. Если не удастся, ты мне не нужна. Я сразу же тебя отпущу. Договорились?

Неожиданно для себя он улыбнулся, зубы у него были мелкие, ровные, — поразительно белые. Густые черные ресницы скрывали выражение глаз. Ответной улыбки не последовало.

Водитель вошел в автобус. Он был до того грузный, что, когда опустился на сиденье, автобус даже слегка осел. Водитель захлопнул дверцу и

завел мотор. Закусочная Либби исчезла, словно под водой. Исчез ребенок у почтового ящика. Потом промелькнули прачечная-автомат, скобяная лавка, пустырь и, наконец, аптека с механической куклой в витрине: Она то поднимала руку, чтобы натереть другую лосьоном для загара, то опускала ее, а потом снова поднимала; на лице куклы в пыльной стеклянной коробке застыла увядшая улыбка.

# *Глава 2*

Я родилась здесь, в Кларионе, выросла в большом коричневом доме с башенками, что возле заправочной станции Перси. Мать моя была полная женщина, в свое время она преподавала в начальной школе. Ее девичье имя Лейси Дэбни.

Заметьте, я упоминаю о ее полноте прежде всего, На такую полноту нельзя не обратить внимания. Она определяла облик матери, струилась из него, заполняла собой любую комнату, в которую та входила. Мать была похожа на гриб: редкие белокурые волосы, розовое лицо, а шеи вовсе не было — просто челюсть книзу расширялась, расширялась и переходила в плечи. Круглый год она носила цветастые платья-рубашки без рукавов — зря она так одевалась. Ножки у нее были малюсенькие, таких крохотных ножек я у взрослых в жизни не видела, и была у нее тьма-тьмущая крохотных нарядных туфель.

Когда ей было за тридцать — а в ту пору она все еще оставалась незамужней учительницей и жила в доме своего покойного отца возле заправочной станции, — в школе появился заезжий

фотограф по имени Мюррей Эймс, он должен был сфотографировать ее учеников. Сутулый, лысый, кроткий человек с усами, похожими на мягкую черную мышку. Что он нашел в ней? Может, ему понравились ее маленькие ножки, нарядные туфельки? Как бы там ни было, они поженились. Он перебрался в дом ее покойного отца и превратил библиотеку в фотостудию — Г-образная комната с отдельным входом и обращенным на улицу окном-эркером. Возле камина до сих пор стоит на штативе его старый громоздкий фотоаппарат и задник — синее-синее небо и обломок ионической колонны, — на фойе которого долгие годы позировало множество учеников.

Из школы ей пришлось уйти. Он не хотел, чтобы жена работала. Порой у него бывали приступы гнетущей черной меланхолии, которые до смерти пугали ее, она суетилась и все пыталась понять, в чем же она провинилась. Она сидела дома, поглощала ириски и мастерила разные разности: подушечки для булавок, покрышечки для коробок с салфетками, гигиенические пакеты, кукол для комода. Так продолжалось годами. И год от года она делалась все толще, ей все труднее становилось ходить. Она то и дело теряла равновесие и двигалась теперь осторожно, будто,

несла полный кувшин с водой. Стала вялая, обзавелась несварением желудка, одышкой, начался климакс. Она была убеждена, что внутри растет опухоль, но идти к врачу не хотела и только принимала печеночные пилюльки Картера — излюбленное свое лекарство от всех недугов.

Однажды ночью она проснулась от спазмов в животе и решила, что опухоль, которую она представляла себе чем-то вроде перезрелого грейпфрута, прорвалась и ищет выхода. Вся постель была горячая и мокрая. Она разбудила мужа, тот с трудом влез в брюки и отвез ее в больницу. Через полчаса она родила девочку шести фунтов весом.

Все это я знаю от матери, она тысячу раз мне рассказывала. Я была ее единственной слушательницей. Так уж вышло, что она отдалилась от всех людей в городе — не было у нее никаких друзей… За своими тюлевыми занавесками она жила в полном одиночестве. Но я почему-то думаю, что некогда семья матери была очень общительна и в доме часто устраивали танцы и обеды (мой дед был как-то причастен к политике, имел какое-то отношение к губернатору). Сохранялись фотографии матери в розовом вечернем платье из тюля: похожая на огромную мальву, она исполняет

роль хозяйки дома, уже после смерти бабушки. На всех фотографиях она улыбается, словно ужасно чему-то рада, а руки сложены на животе.

Но мой дед был единственный, кому она нравилась такой, какой была (он называл ее своей булочкой, любил ее ямочки, радовался, что она, как он говорил, «не кожа да кости»), и после его смерти ее светская жизнь стала сходить на нет. Только самые близкие друзья деда продолжали приглашать ее, да и то лишь на скучные семейные обеды, где не надо было подбирать гостей парами; потом умерли и они, единственный ее брат женился на женщине, которая недолюбливала ее; а другие учительницы были такие молоденькие, жизнерадостные, что ее просто отчаяние брало, К тому же ей иногда казалось, что дети в школе подсмеиваются над ней. Пока они были ее учениками, они обожали ее. О, как любили они искать у нее утешения; она обнимала упавших с гимнастической стенки, и, прижавшись к ней, они вдыхали запах бархатной розы, приколотой к ее груди: каждое утро она капала на один из лепестков немного духов. Но через год-другой, когда они учились уже не у нее, кое-что она иной раз замечала. Усмешки, перемигивания, грубые стишки, повторять которые

считала унизительным.

Потом, сразу после замужества, последовала краткая вспышка приглашений, словно ее вновь признали после длительной размолвки. Но… все-таки в чем же именно было дело? Бог весть. Она тщетно искала ответ. Может, виной тому ее муж, который так и не научился находить с людьми общий язык? Он был недостаточно общителен. Вечно хмурый, к кому обращаются, а он не поднимет глаз и рта не раскроет. Слоняется по комнате, будто сам не свой: плечи опущены, весь сгорбленный — не человек, а костюм на вешалке. Не удивительно, что круг их знакомств сузился и почти сошел на нет.

Все это так, думала я, но посмотрите на нашу соседку Альберту! У нее муж тоже ни богу свечка ни черту кочерга, но сколько же у неё друзей!

Я пошла в школу — огромный новый мир. Мне и в голову по приходило, что люди могут быть такими беспечными. Я стояла возле игровой площадки и смотрела, как девочки собираются стайками, хихикают по пустякам, рассказывают всякие интересные истории про то, как живут дома, как ездили в цирк, как воюют с братьями. Меня они не любили. Говорили, от меня дурно пахнет. Так оно и было, они правы. Теперь, входя

в наш дом, я тоже ощущала этот запах: спертый, тяжелый, застоявшийся воздух, давным-давно все там застыло в неподвижности. Я стала замечать странности матери. Ее платья напоминали огромные цветастые сорочки. Я удивлялась, почему она так редко выходит из дому; а потом однажды увидела издали, как она медленно, с трудом ковыляет к бакалейной лавке на углу, и подумала: лучше бы уж она вовсе не выходила на улицу.

Я удивлялась, почему у отца так мало клиентов — все больше военные или другие проезжие — и почему он так невнятно бормочет, когда разговаривает с ними, и вид у него такой унылый, виноватый, что просто сердце разрывается. Я боялась, что они с матерью не любят друг друга, разойдутся, разлетятся в разные стороны, а про меня впопыхах забудут. Ну что бы им быть как родители Ардэл Ли! Те всегда ходили вместе, взявшись за руки, а мои даже никогда не дотрагивались друг до друга. Смотрели друг на друга и то нечасто. Они словно погрузились в себя, как это бывает с людьми, в чем-то обманувшимися и разочарованными. И хотя спали они в одной большой деревянной кровати, середина ее так и оставалась несмятой, нетронутой, безупречно

аккуратной — ничейная земля.

Временами они ссорились (раздраженные крики без всякой видимой причины), и тогда отец ночевал у себя в фотостудии. А мне делалось тошно. Я места себе не находила. Отца я любила больше матери. Он верил, что я их родная дочь, а мать не верила. Мать считала, что в больнице произошла путаница. «Неожиданные роды — да это все равно что землетрясение или ураган! Или еще какое-нибудь стихийное бедствие. В душе ты еще не успела к этому подготовиться. К тому же, — продолжала она, перебирая спереди платье, — мне, кажется, дали какой-то веселящий газ. И все было как во сне. Нарушилось зрение, и, когда принесли ребенка, мне померещилось, что это пакет с ватой. Его почти все время держали в детской палате. А в день выписки сунули мне сверток: совершенно голого ребенка в застиранном одеяльце. Боже, подумала я, да это же не мой ребенок! Но, понимаешь, я все еще была сама не своя, и к тому же не хотелось устраивать скандал. Что мне дали, то и взяла».

Потом, поморщив лоб, она скорбно вглядывалась в мое лицо. Я знала, о чем она думает: на кого я все-таки похожа? Я была худая, бледная, а волосы прямые, каштановые. Кроме меня, в

семье ни у кого не было каштановых волос. Были у меня и другие необъяснимые особенности: очень высокий подъем, из-за чего никакие туфли мне не подходили, желтоватая кожа и еще рост. Для своих лет я всегда была слишком высокой. От кого же я это унаследовала? Не от моего отца. И не от моей мамы ростом всего пять футов, и не от ее коренастого брата Джерарда, и не от ее крепыша отца, по-детски улыбавшегося с фотографии, и, конечно же, не от моей двоюродной бабки Шарлотты, в честь которой меня назвали: на фотографиях она сидит в кресле, а ноги смешно висят, не достают до пола. Где-то что-то было не так.

«Но я все равно тебя люблю», — говорила мать.

Я знала, что любит. Но ведь речь-то сейчас не о любви.

К несчастью, я родилась в 1941 году, когда в больнице округа Кларион неожиданно появилось множество пациентов — все больше роженицы, жены солдат; никогда — ни до, ни после — там не было столько народу. Истории болезней той поры оказались на редкость лаконичными, неточными или попросту были утеряны. Это совершенно точно, мать проверяла. Ей не удалось собрать никаких доказательств; где-то в мире, у чужих,

ненастоящих родителей, растет под чужом именем ее белокурая дочурка. Но приходится с этим мириться, говорила мама. Всплескивала руками и безнадежно опускала их.

Мир казался ей огромным и чужим. А я-то знала, что мир невелик. Рано или поздно ее родная дочь найдется. И что тогда?

Мой отец, если его спрашивали напрямик, говорил, что я их родная дочь; он не вдавался в подробности, а просто коротко отвечал: «Разумеется, родная». Однажды он привел меня в комнату для гостей и показал мои младенческие одежки, которые хранились в обитом медью сундучке (не знаю, что он хотел этим доказать). По его словам, эти вещи ему пришлось покупать самому, пока мать была в больнице. И купил он их для меня. Он ткнул меня пальцем в грудь, почесал затылок, словно хотел что-то вспомнить, и ушел в студию. Я испугалась, что у него опять начнется приступ депрессия, мельком взглянула на комплект для новорожденного (пожелтевшие смятые вещицы, упакованные так давно и свернутые так туго, что их пришлось бы отдирать друг от друга, как табачные листья), а потом вышла из комнаты и отправилась разыскивать отца. Весь день я работала с ним, промывала под струей воды тяжелые

стеклянные негативы. Но он не произнес больше ни слова.

За едой у нас держались натянуто и молчали, слышался лишь звон ножей и вилок. Родители не разговаривали друг с другом, а если и обменивались несколькими словами, в них звучала безнадежная горечь.

«Горький, как желудь», — говорил отец и ставил чашку с таким раздражением, что кофе выплескивался на заштопанную скатерть. Мать опускала голову и закрывала лицо руками, а отец резко отодвигал стул и шел заводить часы.

Я разминала ложкой горох. Что толку есть. В этом доме любая еда камнем оседала в желудке.

Два главных страха терзали меня в детстве: во-первых, что я им не родная дочь и рано или поздно они от меня избавятся. А во-вторых, что я все-таки родная дочь и никогда в жизни мне не вырваться отсюда.

# *Глава 3*

Я была рада, что грабитель позволил мне сесть возле окна. Даже если он сделал это не по доброте душевной, я по крайней мере могла видеть уплывающие окраины Клариона. Потом замелькали пригородные дома, а за ними широкие просторы полей. Я откинулась на спинку сиденья и утонула в них взглядом. Долгие-долгие годы я никуда не выезжала.

Нейлоновая куртка тем временем шуршала у меня под боком, сосед беспрестанно ерзал. До чего же беспокойный. Я хочу сказать, беспокойный по натуре. Стоило автобусу остановиться — перед светофором или на остановке, — он начинал ерзать. Когда какая-то женщина вышла у придорожного почтового ящика, в чистом поле, я слышала, как он барабанил пальцами, пока автобус не тронулся с места. А когда водителю пришлось затормозить из-за идущего впереди трактора, он громко застонал. Потом зашаркал ногами, передернул плечами, почесал колено. Разумеется, левой рукой. Правой не было видно: он прижимал ее к животу, пистолет упирался

мне в бок между третьим и четвертым ребром. Он не хотел рисковать.

Чего он ждал от меня? Что я выпрыгну из этого маленького мутного окошка? Попрошу помощи у сидящей впереди старухи? Закричу? Что же, закричать можно, это, пожалуй, имело смысл. (Если они не примут меня за сумасшедшую и не притворятся глухими.) Но я не из тех, кто кричит, никогда я не кричала. В детстве я однажды чуть не утонула, прямо на глазах у спасателей, в ужасе шла ко дну, а губы крепко стиснула! Мне легче умереть, чем кого-нибудь побеспокоить.

Некоторое время мы ехали параллельно с товарным поездом. Я стала считать вагоны: в беду попал — не вешай нос, держи себя в руках. Интересно, почему переименовали эту железную дорогу? Назвали ее Чесси. Чесси — так, пожалуй, лучше назвать паштет для сандвича или женщину — учительницу физкультуры.

Время от времени мне приходило в голову, что в любую минуту меня могут убить.

По транзистору, который слушал солдат, передавали старую популярную песенку «Нет мелочей на свете». Стоит захотеть, можно закрыть глаза и снова танцевать на выпускном балу. Но мне этого не хотелось. Песня неожиданно оборвалась на

самой высокой ноте, и мужской голос объявил:

— Прерываем программу, и передаем специальное сообщение.

Ни одни мускул не дрогнул в лице грабителя, но я чувствовала, как он весь насторожился.

— Полиция Клариона сообщает, что сегодня около четырнадцати часов тридцати минут совершено ограбление Мэрилендского банка. Белый мужчина, лет двадцати с небольшим, действовавший, очевидно, в одиночку, скрылся с двумястами долларов в купюрах по одному доллару и с женщиной-заложницей, пока еще не опознанной. К счастью, автоматические телевизионные установки банка функционировали исправно, и полиция не теряет надежды, что…

Солдат повернул ручку транзистора и перестроил его на другую программу. Голос диктора, смолк. На смену ему выплыла Оливия Ньютон-Джон.

— Вот черт!.. — сказал грабитель.

Я так и подскочила.

— Зачем в такой дыре понадобилось устанавливать телекамеры?

Я рискнула взглянуть на него. Уголок рта у него подергивался.

— Но послушайте, — шепотом сказала я. Ре-

вольвер ткнул меня в бок. — Вы на свободе! Вы же удрали.

— Конечно... А мое лицо осталось у них на целой катушке пленки.

— Ну и что с того?

— Да они опознают меня.

Опознают? Значит, это известный преступник? Или сумасшедший, какой-нибудь маньяк из местной психиатрической больницы? Да, плохи мои дела.

— Плохо дело! — сказал он.

Голос был тонкий, резкий — голос человека, которому безразлично, что о нем подумают. От такого добра не жди! Я отогнала эти мысли и снова отвернулась к окну, за которым проплывали мирные фермы.

— На что это ты глазеешь? — спросил он.

— На коров...

— Они поджидают меня в следующем городе, вот увидишь. Как он называется?

— Вот что, — сказала я. — Вы слушали радио? Они знают, что у вас есть заложница, и это все, что им пока известно. Они ищут человека с заложницей. Вы должны отпустить меня. Неужели не ясно? Отпустите меня на следующей остановке, а сами оставайтесь в автобусе. Обещаю, я

никому не скажу ни слова. Не все ли мне равно — поймают вас или нет.

Казалось мои слова не доходят до него. Он смотрел прямо перед собой, уголок рта все еще подергивался.

— Вот уж чего терпеть не могу, так это сидеть за решеткой, — наконец проговорил он.

— Ясно.

— Терпеть не могу.

— Ясно.

— Ты останешься со мной, пока я собственными глазами не увижу пленку, заснятую в банке.

— Что?

— На таких пленках изображения чаще всего расплывчатые, неясные, — продолжал он, — не будем паниковать. Поживем — увидим. Если пленка не получилась и мне удастся замести следы, я сразу же тебя отпущу.

— Но как же вы узнаете, что пленка не получилась?

— Ее прокрутят по телевизору в вечерних новостях. Голову даю на отсечение.

— Но где же вы будете смотреть телевизор?

— В Балтиморе. Где же еще?

Он откинулся на спинку сиденья. Я опять стала смотреть в окно, на фермы. Мне казалось, нет

на свете ничего бездушнее этих безмятежных коров.

Судя по всему, мы сели на какой-то совсем местный автобус: он останавливался в городках, о которых я понятия не имела, и еще во множестве других мест. На перекрестках, у кемпингов, возле навесов с предвыборными плакатами. К Балтимору мы подъехали уже в сумерках. В окне я видела собственное отражение, на меня пристально смотрело лицо, куда более привлекательное, чем в жизни. А дальше смутно вырисовывался беспрестанно ерзающий грабитель.

На конечной остановке фары автобуса высветили стену черных людей в вязаных беретах и атласных пиджаках, прохаживающихся взад-вперед с зубочистками во рту.

— Балтимор! — объявил водитель.

Пассажиры поднялись и начали собирать багаж. Только мы продолжали сидеть. Он не давал мне встать, пока все пассажиры не выйдут. Теперь уже я принялась ерзать. Терпеть не могу замкнутых пространств. А если автобус стоит на месте с выключенным мотором, это и есть самое настоящее замкнутое пространство.

— Мне надо сойти, — сказала я.

— Выйдешь, когда разрешу.

— Но я больше не могу здесь. — он окинул меня взглядом. — Вы что, хотите, чтобы у меня началась истерика?

Я и не думала закатывать истерику, но он ведь этого не знал. Он встал, блеснул пистолет, указывая мне путь. Мы прошли за солдатом, чей транзистор передавал «Площадь Вашингтона». Почему-то я всегда путаю ее с «Подмосковными вечерами», и, лишь ступив на асфальт — в голове у меня был туман, и от долгой езды пошатывало, — я поняла, что передавали «Площадь Вашингтона».

— Пошевеливайся, — приказал грабитель.

В сереющих сумерках между автобусами встречались люди и целовались. Мы обошли их и повернули к улице. Там толпился народ, все больше мужчины. Без определенных занятий. Был конец рабочего дня. Но не потому их было здесь так много, они собирались группами, околачивались возле баров, стриптизов, борделей. Воняло жареным картофелем. Все они не внушали доверия. Но рядом со мной был грабитель со своим тяжелым теплым пистолетом, и вообще — терять мне было нечего. Сумка — у него в руках. Я скользила среди этой толпы как рыба в воде, подталкиваемая в спину пистолетом.

— Стоп! — сказал он.

Мы остановились перед невзрачной маленькой забегаловкой с жужжащей неоновой вывеской в витрине «У Бенджамина». Деревянная дверь была так густо покрыта красной краской, что можно было запросто нацарапать ногтем свое имя. Он толкнул дверь, и мы вошли внутрь. Синеватый отблеск телевизионного экрана освещал пыльный воздух, ряды бутылок с серебряной фольгой на горлышках мерцали в зеркале. Ощупью мы пробрались к бару и сели у стойки. Я расстегнула плащ. Человек в фартуке, не отрывая глаз от телевизора, полуобернулся к нам.

— Что тебе заказать? — спросил грабитель.

У нас дома не пили. Но я боялась показаться нелюбезной.

— «Пэбст Блю Риббон», — сказала я наугад.

— Один «Пэбст» и один чистый «Джек Даниэл», — сказал грабитель.

Бармен не глядя налил порцию «Джек Даниэл», глаза его были прикованы к рекламе хрустящего картофеля. Но ему все же пришлось отвлечься и поискать стакан для пива. Потом стали передавать новости, и бармен, так и не найдя стакана, дал мне высокую закрытую банку с пивом и протянул руку, в которую грабитель сразу же

вложил мелочь.

Политиканы разъезжали по стране. Мы видели, как они выходят из самолетов и тотчас начинаются бесконечные рукопожатия, такое впечатление, будто люди тянут канат. Потом показали человека, оправданного судом присяжных. Он заявил, что верит в американское правосудие. Затем последовала реклама таблеток «алка-зелцер».

— Плесни-ка еще, — сказал грабитель, протягивая бармену стакан.

Я открыла банку и глотнула пива. Хорошо вот так сидеть у стойки, можно не смотреть на него. Каждый мог притвориться, что он здесь сам по себе.

Глаза уже привыкли к темноте — ну и заведение! Настоящий сарай — голый, грязный, холодный. Здесь наверняка холодно даже в июле: солнце сюда не проникает. Воображаю, каковы здесь туалеты. Мне нужно было выйти. Но я не знала, как сказать об этом грабителю.

В полицейских телефильмах насчет этого ни слова.

Местная хроника началась с заседания школьного совета. Потом показали похороны полицейского. Арест наркомана. Автомобильную

катастрофу: пять машин столкнулись у Пэрл-Бей. Ограбление банка в Кларионе.

Лицо диктора исчезло, изображение на экране помутнело, стало расплывчатым, неясным. Небольшая очередь: люди выстроились в ряд, как фишки домино. Стоящий впереди коренастый мужчина в темном костюме вытащил что-то из-под пиджака. Мелькнула, рука. Другой человек отпрянул назад и скрылся за высокой тонкой женщиной в светлом плаще. Мужчина и женщина пропали. В кадре возникло несколько новых лиц, и кто-то — то ли мужчина, то ли женщина — поднес к глазам белый шарф или платок… Я смотрела как завороженная. Так вот как выглядела эта комната после моего ухода. Никогда еще мне не доводилось видеть комнату после того, как я из нее вышла.

Снова появился диктор, выражение лица несколько смущенное, словно его застигли врасплох.

— Итак, — сказал он и откашлялся, — итак, перед вами… Ни забудьте, уважаемые телезрители, вы впервые увидели в нашей программе настоящее ограбление банка. Полиция опознала подозреваемого. Это Джейк Симмс-младший, который недавно бежал из Кларионской окружной

тюрьмы, но его заложница пока не опознана. Однако дороги перекрыты, и шеф кларионской полиции Эндрюс убежден, что подозреваемый все еще находится в этом районе.

— Пошли, — сказал Джейк Симмс.

Мы соскользнули с табуретов и пошли к выходу. В дверях я оглянулась на бармена, но его глаза по-прежнему были прикованы к экрану.

— Я знал, так оно и будет, — сказал мне грабитель.

— Но вы ведь уже миновали все дорожные патрули.

— Им известно мое имя.

Мы протиснулись сквозь толпу, людей стало еще больше, но никто, кажется, никуда не спешил. Насколько я могла судить, пистолет больше не упирался мне в спину. Значит, я свободна? Я остановилась.

— Двигай дальше! — вслед он.

— Мне надо найти автобусную станцию.

— Это еще зачем?

— Я уезжаю.

— Ничего подобного.

Мы остановились посреди тротуара, преграждая дорогу потоку пешеходов. Я видела, ему пора побриться. Неприятно, что наши глаза на одном

уровне, не доверяю я коренастым мужчинам. Стараясь не делать резких движении, я осторожно протянула руку:

— Могу я получить назад свою сумку?

— Послушай, — сказал он, — тебя задерживаю не я, а они. Если б меня перестали преследовать, мы могли бы разойтись в разные стороны. Поверьте, леди, о большем я и не мечтаю. Но теперь им известно мое имя, понимаешь, и они могут напасть на мой след. Ты мне нужна как защита, пока я не окажусь в безопасности. Ясно?

Мы зашли еще в одни бар, такой же мрачный и темный, но здесь было несколько посетителей. На этот раз мы сели за небольшой деревянный столик в углу.

— Не мешай мне думать. Дай раскинуть мозгами, — сказал он, хотя я не произнесла ни слова. Потом обратился к официантке: — Один чистый «Джек Даниэл» один «Пэбст» и пару пакетиков с солеными сушками!

Из-за уборной я решила воздержаться от пива. Облокотилась на стол и вытянула шею к телевизору — на сей раз цветному. Передавали прогноз погоды. Тем временем Джейк Симмс положил мою сумку на стол.

— Что там у тебя? — спросил он.

— Вы о чем?

— Есть оружие?

— Оружие? Нет.

Он повернул замок сумки, раскрыл и вытащил потертое, сморщенное портмоне. В нем было несколько жалких бумажных купюр, немного мелочи, заколки для волос и читательский абонемент. Он взглянул на абонемент:

— Шарлотта Эмори.

Достал из сумки фотографию — я с маленькой Селиндой на руках — и стал разглядывать. Потом внимательно посмотрел на мое лицо. Я знала, о чем он думает. В последнее время я совсем перестала следить за собой. Но он ничего не сказал.

Он вытащил из сумки пачку перетянутых резинкой бакалейных купонов и фыркнул. Потом извлек несколько бумажных косметических салфеток, грязную щетку для волос в маникюрные ножницы. Попробовал большим пальцем острие ножниц и взглянул на меня. Я все еще смотрела на грязную щетку. Мне было неловко. Мысли разбегались.

— Так, значит, нет оружия?

— Что?

Официантка принесла заказ и положила перед ним счет. Пока он рылся в кармане, я молча,

умоляюще смотрела на нее: неужели вас не удивляет, что этот человек вытряхивает содержимое из женской сумки? Неужели не видно, что мы странная пара? Разве не надо сообщать об этом куда следует? Но официантка стояла перед нами с маленькой пластмассовой тарелочкой для денег в руках и задумчиво разглядывала себя в массивном зеркале.

Когда она ушла, Джейк Симмс швырнул ножницы под стол и пнул их ногой. Я услышала, как они зазвенели; потом он снова залез в сумку. И на этот раз извлек небольшую книжонку в мягком переплете. Зачитанную до дыр брошюру «Как выжить». Как выжить в пустыне. Он нахмурился. Перевернул сумку вверх дном и потряс. Вывалился какой-то блестящий жетон. Он тут же прихлопнул его рукой.

— А это что такое? — он поднял жетон вверх.

Боже, да это значок. Маленький жестяной значок в форме щита, что-то вроде военного знака отличия.

— Отдайте, — сказала я.

Он посмотрел на меня с подозрением.

— Прошу вас, верните его мне.

— Что это такое?

— Да это просто… ну, как бы талисман, на сча-

стье. Отдайте.

Он прищурился, разбирая надпись: «Смело вперед».

— Кажется, это сюрприз из коробки с кукурузными хлопьями.

— Такое барахло не может быть талисманом.

— Да это же из коробки с… не все ли равно с чем? — спросила я. — Талисманы почти всегда барахло. Заячьи лапки, монеты с двумя орлами… Я нашла этот пустяк в коробке сегодня во время ленча. Думаю, на нем какая-то известная поговорка. Сначала я хотела его выбросить. Но вы же знаете, как иногда бывает. Мне вдруг показалось, это предзнаменование. Ну, не всерьез, конечно. Просто подумала, вдруг он мне что-то предвещает. Например, дорогу, чтобы не сидеть сложа руки, а действовать.

— А почему ты решила, что надпись означает именно это?

— Я подумала, это знак, чтоб я ушла от мужа, — Наступило молчание. Потом я спросила — Вы отдадите мне значок?

— Давай по порядку. Ты, значит, решила уйти от мужа.

— Ну, понимаете…

Я протянула руку за значком. Он притворился,

будто не замечает.

— Черт побери! — воскликнул он. — Наконец-то мне повезло!

— Что?

— А я-то проклинаю судьбу! Решил, что влип по уши! Что твои родичи натравят на меня ФБР! Наконец-то ветер подул в твою сторону, старина Джейк.

— Не понимаю, о чем вы…

— Судьба, кажется, начинает мне улыбаться!

— Верните значок, — сказала я.

— Как бы не так. Я оставлю его себе. У каждого значка есть булавка. А булавки — это смертельное оружие.

— Так ведь это даже и не значок. Просто пустяковый безобидный сюрприз из коробки с кукурузой.

Но он уже положил значок в нагрудный карман своей рубашки.

Мне вдруг стало страшно. Сама не знаю почему. Почему именно теперь, в эту самую минуту. Я вдруг начала задыхаться, мне стало худо и показалось, что из этого положения уже по выкарабкаться. А к этому я совсем не была готова! По природе я миролюбива, не выношу никакого шума, передаю острые предметы рукояткой вперед.

И терпеть не могу ссор, не говоря уже о драках, Я крепко ухватилась за край стола. Попыталась успокоиться и заставила себя смотреть на экран телевизора, правда, толку от этого было мало: перед моими глазами во весь опор скакали бандиты, земля дрожала под копытами их лошадей. Со стуком проносились колеса допотопного поезда, какой-то человек прыгал с седла на крышу багажного вагона, медленно описывая в воздухе крутую дугу, — ну и чудеса! Люди у стойки восторженно завопили.

— Вот так оно и получается, — сказал Джейк Симмс. — Смотришь-смотришь — и начинаешь думать, что с тобой тоже должно приключиться что-нибудь этакое.

Я перевела дух и внимательно посмотрела на него. Мы сидели настолько близко друг к другу, что теперь я увидела, какая шероховатая у него кожа, темные круги под глазами и некрасивые, тонкие, обветренные губы. Но он смотрел на экран и не заметил моего взгляда.

Когда мы вышли из бара, была ночь. Я застегнула плащ. Он поднял воротник. С трудом волоча ноги, мы прошли по коридору из неоновых вывесок и музыки, свернули направо, в более темную улицу. Теперь мы шли мимо ломбар-

дов, закусочных, салонов химчистки; миновали прачечную-автомат, где запоздалые клиенты складывали простыни.

В витрине радиомагазина на экранах шести телевизоров женщина мыла голову шампунем.

Потом появился диктор, встревоженный, озабоченный. После чего на экране снова возникли мы с Джейком и снова стали пятиться назад, все в том же старом неуклюжем и беззвучном танце. Мы стояли у витрины и сквозь контуры собственного отражения смотрели на самих себя. Теперь мы навсегда связаны друг с другом. И выхода нет.

# *Глава 4*

Меня похищали не впервые. Однажды это уже было.

Вот как это произошло. Я участвовала в конкурсе «Самый красивый ребенок», который проводился на ярмарке округа Кларион. К конкурсу меня допустили потому, что сначала надо было прислать фотографию ребенка. Если я окажусь победительницей, это будет прекрасной рекламой для отца. До сих пор помню большие белые буквы, напечатанные под фотографией: ФОТОСТУДИЯ ЭЙМС. Обычно он просто ставил резиновую печатку с такой надписью на оборотной стороне снимка.

На этой фотографии мои приглаженные, слегка смоченные волосы аккуратными прядями спускались к самому подбородку. Лицо должно было быть бодрое, а получилось грустное (меня никак не могли заставить улыбнуться). На мне был темный сарафан, а под ним блузка с пышными рукавами. Мать считала, что с пышными рукавами я буду выглядеть моложе. Было мне в ту пору семь лет — предельный возраст для участников

конкурса. Дома я только и слышала, что в шесть лет и лицо у меня было миловиднее, и вообще я была гораздо привлекательней. Мать очень огорчалась, что конкурс не проводился, когда мне было шесть лет.

Но несмотря на это, пришло письмо с извещением, что меня допустили к финальному туру. Я должна явиться к десяти утра в день открытия ярмарки, сообщали они, до начала конкурса «Мисс Кларион» и сразу же после конкурса «Прекрасные младенцы».

Мать сделала мне платье из белого шитья. Она годами никуда не выходила и все-таки решила поехать со мной на ярмарку. Она сказала об этом, когда подкалывала подол моего платья. Я остолбенела. Разве она выдержит такое? По комнате пройдет, и то начинает задыхаться и потеть, скованная своей уродливой телесной оболочкой. А в последнее время на что ни сядет — все ломается. В нашем доме ужас что творилось. Если это увидит кто-нибудь посторонний, будет совсем неловко. Матери придется захватить свой особый стул, тяжелый белый стул с перекладинами и прочными ножками, какие обычно ставят во дворах. По деревянным ступенькам ей не подняться, на помосте тоже не устоять.

— Пусти меня! — закричала я.

Она опустила руки и уставилась на меня, ей пришлось слегка откинуться назад: я ведь стояла на обеденном столе.

— Что случилось? — спросила она.

— Пусти меня! Пусти! Сними с меня это! — И я начала срывать с себя пышное белое шитье.

— Шарлотта, Лотточка, дорогая! Девочка моя! — твердила она, удерживая мои руки. — Шарлотта, что о тобой?

Тут в комнату вошел отец, шаркая вельветовыми шлепанцами. У него был очередной приступ депрессии. Сразу видно по лицу, отрешенному, беспомощному. Он посмотрел в мою сторону полузакрытыми глазами.

— Я хочу это сбросить, — сказала я.

— Конечно. Ты похожа на шимпанзе в бальном наряде, — сказал он. И прошел в кухню.

Медленно, осторожно мать стала снимать с меня платье, а я стояла неподвижно, как истукан. Она свернула его и положила на стол. Расправила оборку на пышном рукаве. Я знала, о чем она думает: о, если бы в этом конкурсе могла участвовать ее родная дочь!

Мы обе были бы этому рады.

На ярмарку мы отправились с нашими един-

ственными родственниками: толстяком дядей Джерардом, его женой Астер, которая нас недолюбливала, и Кларенсом, их десятилетним сыном, рыхлым неповоротливым пончиком. Дядя Джерард вез нас на своем «кадиллаке»; было ужасно тесно и душно — я думала, мы задохнемся. Мамин стул мы с собой не взяли: для него понадобился бы пикап. Она собиралась всю дорогу стоять. А мне пришлось сидеть рядом с Кларенсом, который дышал ртом. У него были аденоиды. Я уставилась в окно, сделала вид, будто меня тут нет.

Был 1948 год, и теперь мне кажется, все вокруг дышало покоем и порядком, как рисунок в детской хрестоматии. Одинокие бензоколонки. Поля, как покрывала, в цветах. Деревья, уже совсем багряные или совсем желтые. У входа на территорию ярмарки с афиши смотрела напомаженная, завитая домохозяйка с банкой домашних консервов в руках.

ЯРМАРКА ОКРУГА КЛАРИОН 9—16 ОКТ., — гласила афиша. — ТУТ ЕСТЬ ЧЕМ ГОРДИТЬСЯ.

Дядя притормозил у кассы и, не вылезая из машины, протянул кассирше деньги:

— Четыре взрослых и один детский. Девочка без билета. По приглашению, участница конкур-

са красоты. Моя племянница.

Дядя верил каждому прочитанному слову. Он и вправду думал: ТУТ ЕСТЬ ЧЕМ ГОРДИТЬСЯ.

Конкурс был устроен в павильоне «Продукты фермеров», среди кабачков и кругов масла. Не помню точно, как проходил сам конкурс, но отчетливо помню гулкий павильон с высокой вогнутой крышей и голыми стальными стропилами. У девочки, стоявшей рядом со мной, от холода ноги покрылись красными пятнами; она боялась, как бы судьи не подумали, что у нее всегда такая кожа. Помню запах роз. Нет, розы были позже. Мне их вручили как победительнице. Меня фотографировали — не отец, а кто-то другой.

Я запомнила эту фотографию до мельчайших подробностей, она висела у нас наверху в коридоре. На глянцевой бумаге 8X10 расплывчатый снимок: группа детей в белых или светлых платьях из органди, шитья, кисеи; в самом центре, в первом ряду (спокойнее других и потому в фокусе), — темноволосая девочка в простом школьном платье с букетом роз в руках. Не такая уж и красивая. Думаю, секрет моего успеха — сиротский костюм, прямые волосы, которые мать вынуждена была оставить в покое, и выражение отчаяния на лице. Несчастная крошка! Разве можно было

меня обидеть!

Победительницу конкурса младенцев уложили в коляску и отправили домой, чтобы забыть о ней раз и навсегда. «Мисс Кларион» каждый вечер появлялась на арене перед началом родео. Победительнице конкурса «Самый красивый ребенок» повезло меньше. Меня оставили в павильоне «Продукты фермеров». Изо дня в день целую неделю (после уроков) мне пришлось сидеть с трех до шести в центре помоста на грубом и шершавом позолоченном стуле. На голове у меня была бумажная корона, в руках скипетр — вертел, покрытый шелушащейся позолотой. Все это до сих пор стоит у меня перед глазами. Рядом с помостом на столе лежат тыквы, каждая на отдельной бумажной тарелочке. Жены фермеров, в колпаках и передниках, искоса посматривают на банки с вареньями, которым уже присуждены призы. Дети с воздушными шарами в руках, на каждом шаре надпись: «Удобрение Хесса — самое лучшее». И темноволосая женщина, которая день за днем часами простаивала передо мной без тени улыбки, глядя мне в глаза.

Прелестная женщина с чуть впалыми щеками — в ту пору такие лица еще не вошли в моду. На ней было длинное узкое пальто, и я никогда еще

не видала таких стройных ног. Мне нравились два лихорадочных пятна румян у нее на щеках. А вот нравились ли ее темно-карие глаза — не знаю… Заглянешь в такие, и сразу кажется, будто случилось что-нибудь.

Людской водоворот бурлил вокруг нее, как вода вокруг скалы. А она никого не замечает, стоит, глубоко засунув руки в карманы, и только на меня и смотрит.

Тем временем ко мне подходили женщины и говорили, какая я прелесть. Дети строили мне рожи. Кузен Кларенс (мой единственный провожатый после окончания конкурса) то прибивался ко мне с волной стариков из богадельни, то снова удалялся, тяжело переваливаясь с ноги на ногу. А мы с той женщиной все смотрели и смотрели друг на друга.

В последний день, к вечеру, когда за мной вот-вот должны были приехать родители, женщина подошла к помосту и протянула руки. Я встала и отложила в сторону скипетр. Сняла корону и положила ее на трон. А потом спустилась по ступенькам ей навстречу. Она взяла меня за руку. Мы вышли через крайнюю дверь.

Пересекли центральную аллею, прошли мимо аттракционов, где можно было выиграть плю-

шевого медвежонка, сумей только набросить кольцо на бутылку, проколоть воздушные шары или попасть пятицентовой монетой в фарфоровые тарелочки. До сих пор я, бывала только на учебных выставках и надеялась, что женщина здесь остановится, но нет, она не остановилась. И прокатиться на чертовом колесе не предложила. Достаточно было взглянуть на ее лицо, и становилось ясно: об этом не может быть и речи, она задумала что-то серьезное. Шла она быстро, слегка нахмурив лоб. Я крепко ухватила ее за руку и ускорила шаг, чтобы не отставать.

Мы дошли до окраины, дальше начинались поля и свободно гулял ветер. Меня стал пробирать холод, ведь платье мое было с короткими рукавами. Солнце уже зашло. На фоне плоского серого неба я увидела силуэты трейлеров[1]. Наверное, они стояли здесь всю неделю: земля была взрыта и затвердела. На веревках развевались по ветру рубашки, кое-где стояли мотоциклы, в некоторых окнах мерцал мягкий желтый свет. В трейлере, к которому меня подвела женщина, было темно. Вокруг ни веревок для белья, ни других признаков жизни. Женщина распахнула дверь,

**[1] Примечания: 1**

Оборудованный под жилье прицеп к автомашине. — *Здесь и далее примечания переводчика.*

протянула руку и включила свет. Я заглянула внутрь: что-то вроде приемной врача — голо, опрятно, все в бежевых тонах.

— Заходи, пожалуйста, — сказала женщина.

Я вошла, женщина закрыла дверь и прямо в пальто направилась в темный угол трейлера, нервно потирая руки.

— Ну и холод, — сказала она. — Приготовлю чай. — Она говорила с иностранным акцентом, но с каким — я не знала. У нас в Кларионе иностранцев не было, — Ты пьешь чай в это время?

— Нет, — сказала я.

Вместо того чтобы предложить мне что-нибудь еще, она перестала растирать пальцы, вернулась в жилую часть помещения и присела на кран кушетки. Я села рядом. Она повернулась и испытующе посмотрела мне в лицо:

— Тебе здесь нравится?

— Да.

— А мне безразлично. — Она говорила правду, сразу видно. — Так или иначе, все это его. Мне нужен только ящик в комоде, один-единственный ящик. Я держу в нем все, даже туфли, даже пальто, платье. Так что, если моя одежда немного помята, ты будешь знать почему.

Я посмотрела на ее пальто. Ничуть оно не по-

мятое. По-моему, она выглядела безупречно. Она поставила ноги одну к другой так аккуратно, что можно было подумать, возле кровати стоят пустые туфли. Волосы у нее были темнее моих, но лежали так же.

— А у него самого три ящика и стенной шкаф, — продолжала она, — Он предложил мне второй ящик, но я сказала, что с меня хватит и одного. — Я кивнула. По-моему, она была права, — Ну кто бы мог поверить, что я сумею так обходиться? Ты же помнишь, сколько у меня всего было? Моя жизнь изменилась. Он говорит: «Купи, ради бога, себе еще платье, ты же теперь не беженка», «А мне, — говорю, — некуда его вешать». Я разрешаю ему покупать мне только то, что не занимает места: обеды в ресторанах, поездки в красивые места. Люблю путешествовать. А ты? Неужели не любишь?

Я промолчала.

— Думаешь, я сержусь, — сказала она.

А почему, собственно, она должна сердиться?

— Думаешь, я сыта по горло этими путешествиями?

— По-моему, путешествовать очень интересно, — заметила я.

— Интересно… — повторила она.

Некоторое время мы сидели, не поднимая глаз.

— Ты была первой, — наконец сказала она. — Потом заболел малыш. Чем, не знаю. Потом Анна сказала: «Я больше не могу идти». «Но ты должна. Осталось совсем немного», — сказала я. На самом деле я понятия не имела, близко ли, далеко ли. Мы шли так давно, дни, недели, не знаю сколько. Может, месяцы. Растерли нога в кровь. Ели траву. Когда слышали шум и прятались, я уже больше не боялась. Не все ли равно? Но Анне было страшно. Однажды я оглянулась, а ее и след простыл. Может, она исчезла уже давным-давно. У меня ничего не осталось. Одно только платье. Но я все-таки шла дальше, просто чтобы не стоять на месте, переставляла сначала одну ногу, потом другую. И, по правде говоря, совсем перестала о тебе думать.

— Ну и что ж, — сказала я.

— Понимаешь, я только тем и была занята — переставляла сперва одну ногу, потом другую. Говорила себе: «У меня ничего нет». Мне нравилось это. Я радовалась. Ты знала обо всем этом?

Я покачала головой.

Она повернулась так неожиданно, что я вздрогнула, обхватила мое лицо обеими ладоням и притянула к себе. Я не представляла, что она так

сильно дрожит.

— Скажи, ты меня прощаешь?

— Конечно, — ответила я.

Руки ее опустились, она подалась назад. Потом сказала:

— Хорошо! — Улыбнулась. Выпрямилась и откинула со лба волосы. — Надо тебя чем-нибудь занять. А то скучно, да? Посмотрим, не найдется ли у него что-нибудь интересное?

Она стала ходить по комнате, брала в руки то одно, то другое.

— Ножницы, бумага. — Она разложила все это на журнальном столике, — Краски? Нет. Красок у него быть не может.

И все-таки продолжала искать краски, хлопая дверцами в темном углу трейлера.

— И в помине нет. Придется рисовать карандашами. У этого человека зимой снегу не найдешь. — Она возвратилась с двумя огрызками карандашей, одни протянула мне. — Будем делать бумажные куклы. Ты же любишь вырезать бумажные куклы.

— Да, — сказала я. А откуда она это знает, не спросила. Я принялась вырезать кукол из бумажных полосок, как меня учили в детском саду. Ряды бумажных ребятишек в треугольных платьях

держались за руки. А женщина вырезала кукол по одной, и все были разные. Сначала мужчину, потом девочку, потом старушку с тощими щиколотками. Лица она подрисовывала карандашом. Одевала их совсем просто — штрих здесь, штрих там, и сразу видно: вот рукав, вот подол. Закончив, она ставила куклу на журнальный столик, рядом с другими. Все эти белые бумажные ноги шагали в одном направлении. Будто мы всех их куда-то провожали. Но что это означает, я не знала.

А потом распахнулась дверь, и вошел высокий светловолосый мужчина в черной кожаной куртке.

— Этот проклятый Бобби Джо, — начал он. — «Который час? — спросил я. — Бобби Джо...» — Он остановился. Посмотрел на меня. Женщина продолжала свою работу. — Что это за... — сказал он.

Тишину нарушал только холодный металлический лязг ножниц.

— Господи! — воскликнул он и провел рукой по лицу, словно смахивая паутину. — Так ты и есть та самая девочка?

— Что?

— Разве я ошибаюсь? Ты и есть та самая девочка, которую повсюду разыскивают. — Он снова

повернулся к женщине. — Господи!

Она все резала бумагу. Глаза ее были опущены, и я поняла: спасать меня она не станет. Она чувствовала за собой какую-то вину. Вела себя, как ребенок, который становится глухим, замыкается в себе, упрямо молчит, когда взрослые ругают его. Пришлось мне выпутываться самой.

— Я живу здесь, — сказала я мужчине.

Он хмыкнул и уставился в темное окно, словно там было что-то более важное.

— Да! Я здесь живу. Это моя родная мать. Я ее родная дочь.

— А пальто у тебя с собой было? — спросил он.

— Нет. — Я оглядела себя.

— Господа! Ну, пошли.

Скажи она хоть слово, протяни руку, ну просто взгляни на меня — я бы стала ему сопротивляться. Но она была поглощена кудрями бумажного ребенка. Когда мужчина взял меня за руку, я покорно пошла с ним.

Тьма была еще гуще, чем я ожидала. И мы шли сквозь нее к мерцающим красным и синим огням. На главной аллее по-прежнему толпился народ, музыка звучала еще громче, но мужчина так торопил меня, что я едва успевала озираться по сторонам. Мы подошли к конторе, сборно-

му домику с полукруглой рифленой крышей (а я-то думала, мы идем к павильону «Продукты фермеров»). В крохотной холодной комнате, пропахшей сигарами, у стола, за которым какой-то человек разговаривал по телефону, сидели мои родители. Отец, увидев меня, вскочил. Мать раскрыла рот и протянула руки. По ее лицу текли слезы. Я подошла поцеловать ее, но все мои мысли были прикованы к стулу, деревянному конторскому стулу. Выдержит ли он ее? А вдруг сломается? Вдруг она застрянет между большими закругленными подлокотниками, когда будет подниматься? Теперь, мысленно возвращаясь к этой встрече, единственное, что я отчетливо вспоминаю, — это страшную минуту, когда мать стала тяжело подниматься с тонконогого стула, который покачивался под ее тяжестью, и наконец, собравшись с силами, все-таки высвободилась, встала и заковыляла к отцу, взять у него носовой платок.

Я возвращалась домой в пикапе на скользком сиденье между матерью и отцом. Мать все время гладила меня по голове и говорила без умолку, теряя порой нить мысли:

— Понимаешь, сначала мы решили, что ты просто… а все эти равнодушные люди… Их ничем

не проймешь, правда? «Не волнуйтесь, этим делу не поможешь» — вот все, что они мне сказали. «Не волнуйтесь? — сказала я. — Но ведь ее же похитили! А вы говорите, не волнуйтесь!..»

Но я не слушала, ну, может, слушала вполуха. У меня в голове зрела мысль. План. Картина моего будущего. Откуда мне было знать, что картина эта так и останется со мной на всю жизнь? Будет неотступно стоять перед глазами, даже когда я вырасту, выйду замуж и стану вроде бы разумным человеком. Что она будет являться мне бессонными ночами и в свободные минуты каждого дня моей жизни.

Вот эта картина. Я иду по пыльцой дороге, иду уже много месяцев. Небо хмурое, почти черное. Воздух зеленоватый. Временами дует теплый влажный ветер. Ничего у меня нет. Ни кусочка хлеба, ни смены белья. Ступни болят, волосы спутались, а сама я — кожа да кости. Вокруг ни души, никаких признаков жизни. Хотя иногда мне кажется, что той же дорогой, в ту же сторону идут другие, незнакомые мне люди.

С 16 октября 1948 года я начала делать попытки избавиться от всего, что могло бы обременить меня в долгом пути. В 1948 году мне нравилась посеревшая от старости, некогда голубая тряпочная

кукла с пластмассовым лицом — она называлась Спящая Кукла, глаза у нее всегда были закрыты, просто два нарисованных полукруга с ресницами, — я собиралась взять ее с собой, но, став старше, раздумала. Потом я хотела взять с собой браслет с брелоками-амулетами, среди них были крохотные серебряные песочные часы с настоящим песком, но во время школьной экскурсии в Вашингтон я его потеряла. И даже обрадовалась. Избавилась от обузы.

Моя жизнь — это история избавления от всего, что меня обременяло. Я оставляла лишь самое необходимое, чтобы легче было в пути. Вещи угнетают меня. Когда Сол подарил мне к помолвке кольцо, я месяцами не находила себе покоя. Куда его спрятать? Делать нечего, придется взять с собой, потом можно обменять его на еду. Но не привлечет ли оно грабителей, когда я буду спать у обочины дороги? Второпях они могут отрубить вместо с ним мой палец, а у меня не будет при себе аптечки. Я была рада, когда наступили трудные времена и пришлось продать кольцо тем же ювелирам Аркинам, у которых оно было куплено.

Муж был еще одной обузой; я часто думала об этом. Но куда большей обузой были дети. (Не говоря об их свитерах, лейкопластыре, мягких

игрушках, витаминах.) Откуда набралась такая масса вещей, ведь я так много выбросила? Я смотрела на своих детей с тем же смешанным чувством любви и возмущения, с каким некогда относилась к Спящей Кукле. Мне хотелось избавиться и от людей. Я радовалась, когда теряла друзей.

С тех пор как я повзрослела, главная моя собственность — пара отличных уличных туфель.

Об этом моем путешествии, разумеется, никто не знал. Но часто, когда я размышляла о нем, мать жаловалась, что взгляд у меня становится отрешенным.

— Не понимаю, — говорила она, — откуда у тебя такое выражение? Будто ты… сама не своя, Шарлотта, что случилось? Раньше ты не была такой. Не понимаю, с тех пор как…

С тех пор как меня похитили — вот что ей хотелось сказать, но она никогда не называла это похищением. Она сбивала меня с толку. Иногда говорила, что я отправилась к главной аллее из упрямства, иногда утверждала, что устроители ярмарки нарочно, по злобе потеряли меня. В конце концов я окончательно запуталась и перестала понимать: что же произошло на самом деле? Что это означало?

Меня похитили — в этом я почти не сомневалась. Но вот кто именно это сделал, я не могла сказать с той же уверенностью. Меня похитили и поставили на обеденный стол, замуровали в платье из шитья, посадили на грубый, покрытый позолотой трон, человек в кожаной куртке гнал меня через поле, меня судорожно запихнула в пикап толстая женщина, которая беспрестанно повторяла: «Никогда в жизни я не была так перепугана. Думала, мы тебя потеряли. Наше единственное дитя. Нашу крошку. Я думала, как же мы станем жить дальше… Решила, что тебя уже нет в живых, что тебя убили. Ты же у нас такая худышка. Много ли тебе надо? Ты была худышкой даже младенцем, я день и ночь тревожилась о тебе. Худая, как палка. Худущая, как проволока. Когда тебя принесли, я сказала: „Какая худышка!“ У тебя были прямые темные волосы. Я никогда по видела младенца с такими длинными волосами. До двух лет у тебя на виске оставался след от щипцов. Помнишь, Мюррей, я сказала: „Что это за шрам? Мой ребенок появился на свет без щипцов. Мне сам врач говорил“. Боже, ну почему они не отвечают на вопросы?»

Она опустила руки на колени. Отец вздохнул. Они вглядывались в ночь, а пикап тем временем

с шумом катился по дороге, похищая меня.

# *Глава 5*

Мы вышли к большой заправочной станции, залитой ярким светом неоновых ламп; неопрятный парень в синих джинсах заливал бензин. За зеркальным стеклом витрины — немецкая овчарка. Джейк Симмс шагал медленно, озираясь по сторонам. Непонятно, что он высматривал. Потом сказал:

— Подойдет. — Он двинулся по шлакобетонной дорожке, подталкивая меня перед собой, — Придется отлучиться по нужде. Кроме того, у меня здесь найдутся еще кое-какие дела. Попроси-ка у этого парня ключи.

— Что?

— Ключи, ключи. Попроси у него ключи от уборной.

Я попросила. Парень теперь мыл ветровое стекло; он прекратил работу и выслушал меня, как будто по мог одновременно делать и то и другое. Наклонил ко мне взлохмаченную светловолосую голову. Суставы пальцев у него были грязные, загрубевшие.

— Мне нужен ключ, — сказала я.

— Ключи! — прошипел сзади Джейк.

— Оба ключа. И для него тоже.

Парень отложил тряпку и полез в карман. Джинсы были такие тесные, ему даже пришлось втянуть живот, чтобы засунуть руку в карман. Один ключ был прикреплен к металлическому кольцу, другой — к деревянному диску.

— Не забудьте вернуть, — сказал парень.

— Само собой, — отозвался Джейк.

Мы пошли к уборным, на дверях были цепочки с висячими замками. Он отпер женскую уборную и втолкнул меня туда. Я не понимала, что происходит. Что это — конец пути? Может, он собирается насовсем уйти отсюда?

— Не вздумай бежать, — сказал он и захлопнул дверь.

Я услышала поворот ключа и удаляющиеся шаги. После его ухода цепочка долго колотилась о дверь, словно кто-то снова и снова бросал в нее пригоршни мелкой гальки.

Честно говоря, я была рада попасть наконец в уборную. Я вымыла руки и посмотрела в замызганное зеркало: волосы в некотором беспорядке, а в остальном вид вполне приличный. Наверное, такие вещи не отражаются на внешности, как можно было бы ожидать.

Потом я подняла голову — крохотный расплывчатый квадрат потолка, покрытого паутиной. Да это же самое настоящее замкнутое пространство, точно. Высоко в шлакобетонной стене крохотное, чуть приоткрытое окошко — матовое стекло, затянутое проволочной сеткой. Я встала на сиденье унитаза. Приподнявшись на цыпочки, мне удалось прижаться лицом к окошку и увидеть то немногое, что открывалось глазам: узкая полоса мрака и поблескивающие крыши автомашин, оставленных для ремонта. Ни души, никого, кто может прийти на помощь. Я была бы рада любому живому человеку, даже Джейку Симмсу… Хотелось колотить по оконной раме, как по тюремной решетке, позвать его по имени. Но потом я увидела его. Он, пригнувшись, стоял возле какой-то машины. Вскоре он выпрямился и зашагал в мою сторону. Я спрыгнула с унитаза и перекинула ремешок сумки через плечо. Когда он открыл дверь, я стояла перед ним как ни в чем не бывало. И виду не подала, что места себе не находила от страха.

— Иди за мной, — скомандовал он.

Он повел меня в темноту к тем самым машинам, которые я только что видела в окошко. Одна из них оказалась длинной и вроде расплющен-

ной. Я не успела разглядеть ее как следует. С одной стороны — там, где сидят пассажиры, — ручки передней и задней дверей были скреплены цепочкой и заперты на висячий замок. Пришлось протискиваться между другими машинами, чтобы подобраться к ней с другой стороны. Джейк открыл дверь и втолкнул меня на сиденье.

— Подвинься, — сказал он. Я посмотрела на него. — И чтобы никаких глупостей. Дверцу я запер на цепочку от мужской уборной.

Я подвинулась. Машины ведь тоже замкнутое пространство, даже если дверцы не заперты, а тут и задохнуться недолго, подумала я, с этими плюшевыми, пропахшими пылью чехлами и узкими окнами. Никаких подголовников. С зеркальца свешивались две огромные полумаски из меха.

— Что это за машина? — спросила я.

— Нищие не выбирают, — отрезал Джейк, — Все остальные без ключей.

Он сел за руль и стал осторожно прикрывать дверь — она закрылась почти бесшумно. Тогда он перевел дух и с минуту сидел неподвижно.

— Теперь вопрос, заведется ли она, — сказал он.

Шорох нейлона, поворот ключа. Нехотя заработал мотор. Джейк дал задний ход, и я увидела,

как уплывает стоявшая перед нами машина. Я не умею водить, поэтому я продолжала смотреть вперед. Как вдруг, совершенно неожиданно — бум! — мы ударились обо что-то. Я резко обернулась, но так и не разглядела, на что же мы налетели. Похоже, на почтовый ящик. На что-то дребезжащее.

— Вот черт! — выругался Джейк и, переключив скорость, с ревом выехал на улицу.

Но даже это не заставило никого броситься за нами вдогонку. По крайней мере я никого не заметила, хотя все время глядела назад.

— Понимаешь, не хотел тормозить, — объяснил Джейк, — чтобы не включать задний свет.

Но едва мы оттуда выбрались и влились в вечерний поток, он включил фары и откинулся на спинку сиденья. Трудно поверить. Значит, вот как это делается? Так просто?

— Господи, — сказала я, — вот уж никогда не думала, что у преступников такая легкая жизнь.

Он искоса посмотрел на меня:

— Что? Какая жизнь?

Я не ответила, не хотела затевать спор. Некоторое время мы ехали прямо. Потом свернули направо. Миновали очередь возле ресторана.

— Вот умора! — сказал он. — Значит, ты реши-

ла, что я преступник?

— Хм…

— Думаешь, я мошенник какой-нибудь?

Лучше не напоминать ему об ограблении банка; я одернула юбку и положила сумку на колени. Мы повернули налево. Дома стали попадаться все реже.

— Значит, ты считаешь так?

— Не знаю, кто вы такой, и меня это совершенно не интересует, — сказала я.

Он остановился перед светофором, покусывая нижнюю губу. Не удивительно, что она у него так потрескалась. Когда дали зеленый свет, машина рванулась вперед, словно вспомнила вдруг о чем-то. Завизжали покрышки, запрыгали перед зеркалом меховые маски.

— Дело в том, что я автогонщик, — сказал Джейк. Я подумала, что он подсмеивается над своей манерой вести машину, но лицо его оставалось серьезным. — Я участвовал во многих автородео в нашем округе: в Хейгерстауне, на Потомаке… В Мэриленде их устраивают чуть ли не каждый день.

— Каждый день? Автородео?

— В прошлом году я выиграл три раза. Но обычно мне больше везет.

— А я-то думала, автородео бывает только по субботам и воскресеньям. Так вот чем вы зарабатываете себе на жизнь.

— Чем и сколько я зарабатываю — мое дело.

— Я хотела сказать…

— Если понадобится, могу наняться на несколько дней в автомастерскую или любое другое место. Но по душе мне только гонки. Понимаешь, живет во мне этот идиотский дух разрушения. Хлебом не корми. Терпеть не могу спокойной жизни: сидишь в каком-нибудь доме, связан по рукам и ногам, жена, дети, золотые рыбки… То ли дело, когда под рукой надежный, крепкий «форд» образца шестьдесят второго — шестьдесят третьего года или что-нибудь в этом роде. Раздолбаешь все вокруг в пух и прах. А потом ка-ак врежешься в землю, машина — в лепешку. По мне, лучше не бывает. — На полном ходу он объехал какое-то мертвое животное. — А ты небось подумала, что я преступник?

— Да, но…

— Хочешь знать правду? — Я выжидающе молчала. Он посмотрел на меня и отвел глаза. В темноте трудно было разглядеть выражение его лица. — Беда вот в чем: я жертва импульса.

— Жертва чего?

— Импульса.

— Вот как!

— Так говорил один мой дружок. Оливер его звали, Оливер Джеймисон. Этого головастого типа я заприметил в колонии. Тогда мы были еще сосунками. Понимаешь, ему все — море по колено. Посадят его под замок, а он вытаскивает книгу и давай читать, вот какой парень. Я, стоит мне попасть за решетку, становлюсь прямо как бешеный. Вот ей-ей! Бешеный. На все готов, только бы удрать. Взять хотя бы эту самую колонию: я сломал там щиколотку, когда прыгал из окна уборной священника. И с этой сломанной щиколоткой бежал до леса. А всего-то мне оставалось отсидеть еще какой-нибудь месяц. Вот тогда этот самый Оливер и сказал так про меня. Когда меня притащили обратно, он сказал: «Ты жертва импульса, Джейк». И это застряло у меня в башке. «Ты жертва импульса», — сказал он мне.

Он свернул на небольшое шоссе. Машины двигались по нему всего в два ряда. Мотор угрожающе зарычал.

— Сильные, они замков не боятся, — продолжал Джейк. — Вот Оливер умел держать себя в руках. Нравился он мне. Я называл его по инициалам — *О. Д.* Он любил устраивать взрывы. Знаешь,

эти детские шуточки — взять да подбросить бомбу в почтовый ящик. И бомбы эти он делал сам. Сообразительный был парень. Когда они увидели, что он наделал этими бомбами, химическая фирма предложила ему стипендию, но он, конечно, послал их ко всем чертям. И правильно, по-моему. Одно дело — получать удовольствие, взрывать почтовые ящики. Другое — вкалывать на химическую фирму.

Водитель встречной машины мигнул фарами — наверняка, чтобы Джейк выключил дальний свет. Но Джейк, казалось, не обратил на это внимания.

— Я ему тогда сказал, — продолжал он, — «Импульс импульсом, а обстоятельства тоже много значат». Возьми хотя бы сегодняшний день. С самого начала неудача за неудачей. Не рассчитал время. Потом какой-то болван вытащил пистолет. Понимаешь, о чем речь? Везет мне как утопленнику. Невезучий я.

— Не понимаю, почему вы так считаете, — вставила я.

— Как почему?

— А что, если бы, например, эта машина не завелась? Там, на заправочной? Ее же оставили для ремонта. Что было бы, если бы она не завелась по-

сле того, как вы пошли и заперли на цепочку?... А если бы там не оказалось ключа? В других местах больше порядка: они держат ключи в кассе или в каком-нибудь другом надежном месте. Или если бы этот парень оказался на улице — что тогда?

— Тогда бы я свистнул машину где-нибудь в другом месте.

— Но...

— Возьмем, к примеру, почтовый ящик. Ты слышала о таком трюке? С почтовым ящиком? Забиваем чем-нибудь щель, чтобы письмо не пролезало. Подъезжает человек, хочет опустить письмо, да не тут-то было. Тогда он вылезает из машины — посмотреть, в чем загвоздка. Ключ, конечно, остается на месте, мотор работает, дверь нараспашку. И все, что от тебя требуется, — быстро вскочить в машину. Проще простого. Ясно?

— Но он же сразу поймет, в чем дело, — сказала я. — И бросится следом за вами.

— Твоя правда, — согласился Джейк и щелкнул пальцами, — Соображаешь. Я бы никогда на это не пошел, если бы имелись другие возможности.

— Вот именно, — сказала я, потом вспомнила: — Да, но я хочу спросить, как же можно считать себя невезучим, если все вышло так удачно?

Он повернулся. Я почувствовала, он смотрит на

меня в упор.

— По-твоему, это везение? Когда какой-то идиот оказывается вооруженным, включаются телекамеры, а у тебя на руках остается дамочка, которая нужна тебе как зуб в ухе, — и это везение?

— Да, но…

— Это все обстоятельства, они против меня, — сказал Джейк, — Как я говорил Оливеру: «Всего не предусмотришь». События ускользают из-под моего контроля. Но Оливер, Оливер — это да. Соображал, что к чему. «Вся твоя жизнь, — говорит, — ускользает из-под твоего контроля. Вся твоя жизнь». Этот парень соображал, что к чему.

Не знаю, в котором часу мы остановились. Пожалуй, около десяти. Мы ехали сквозь глухую, беспросветную тьму, в которой кажешься себе песчинкой. Дорога была неровная, ухабистая, с множеством поворотов, перекрестков, стоп-сигналов; я клевала носом, но на каждом ухабе снова возвращалась к действительности, ни на минуту не могла забыть о том, где нахожусь. Едва мы остановилась, я мгновенно пришла в себя и насторожилась:

— Что случилось?

— Чертов мотор, заглох. — Он включил внутренний свет, и я зажмурилась, — С самого начала

знал, так оно и будет.

— Может, кончился бензин?

Он посмотрел на бензомер. Постучал по нему.

— Точно?

Было ясно, я права (он отводил глаза). Потом он вышел из машины и сказал:

— Садись за руль, верти баранку, а я подтолкну ее к обочине.

— Но я не вожу машину.

— Ну и что? Садись за руль и верти баранку — только и делов. Садись за руль.

Он захлопнул дверь. Я села за руль. Через секунду я почувствовала, как он сзади навалился на машину и она дюйм за дюймом стала двигаться вперед, а я как могла выворачивала руль, хотя почти ничего не видела из-за включенного в машине света.

Осторожно вела машину вдоль дорога, а сама думала, что бы я стала делать, если бы мотор вдруг заработал и машина рванула вперед. Свобода! Я бы оставила его далеко позади и устремилась к ближайшему шоссе. Да только я ведь совсем не умею водить и плохо представляю, где педаль тормоза.

Наконец я повернула руль вправо, и машина сползла на узкую полоску обочины, сухие кусты

застучали по борту.

Джейк закричал. Машина остановилась. Он подошел, открыл дверь и сказал:

— Какого черта ты загоняешь ее в лес?

— Я же говорила, что не умею водить.

Он вздохнул. Протянул руку и выключил свет.

— Ладно, вылезай.

— Что же мы будем теперь делать?

— Двинем к той самой бензоколонке, которую недавно проехали.

— Может, я лучше останусь и подожду вас?

— Как бы не так!

Я вылезла из машины. Ноги затекли, и туфли словно изменили форму, стали не по ноге.

— Это далеко?

— Не очень.

Мы пошли по середине шоссе — машин не было ни с той, ни с другой стороны. Он опять схватил меня за локоть, за то же самое больное место. Рука его показалась мне маленькой и жилистой.

— Послушайте, — сказала я, — отпустите руку, я пойду сама, куда я от вас денусь?

Он ничего не ответил. Но руку не отпустил.

В воздухе пахло сыростью, как перед дождем, потеплело. Во всяком случае, я хоть дрожать перестала. Насколько я могла разглядеть, мы на-

ходились где-то в сельской местности. Миновали сарай, потом навес, откуда доносилось сонное кудахтанье кур.

— Где же мы все-таки? — спросила я.

— А я почем знаю. Где-то в Виргинии.

— Ноги болят.

— Все же очень странно, что ты не умеешь водить машину, — сказал он, как будто это было причиной всех наших бед. — Идиотство в чистом виде.

— Что ж тут идиотского? — спросила я. — Одни умеют водить машину, другие — нет. Я из тех, кто не умеет.

— Только самые безмозглые не умеют водить машину, — сказал Джейк. — Я лично так считаю.

Он вытер лицо рукавом. Мы все шли по дороге. Обогнули поворот, который вселял в меня надежду, но за ним была все та же темень.

— Вы ведь, кажется, говорили, что это недалеко, — заметила я.

— Так оно и ость.

— Ноги отваливаются.

— Ничего, держись. Дойдем помаленьку.

— Ноги болят от пальцев до колен.

— Хватит об этом. Неужели этот тип не мог как следует заправить бак?

— Может, он не знал, на сколько времени вы хотите ее украсть.

— Но-но, поосторожнее, мадам, — сказал он.

И я решила быть поосторожнее.

Заправочная станция оказалась за следующим поворотом. Не бог весть что: тускло освещенная вывеска, два насоса и перекошенный навес. Как только мы ее увидели, Джейк отпустил мою руку.

— А теперь слушай внимательно, — сказал он. — Попросишь у этого парня канистру бензина. Ясно?

— Почему это просить всегда должна я?

Что-то толкнуло меня в спину — пистолет. Боже, опять пистолет, а я-то думала, что с этим покончено раз и навсегда. Я совсем про него забыла, будто его и в помине не было. Этого черного обрубка в руке «жертвы импульса». Я перешла через дорогу и поднялась по шлакобетонным ступенькам; Джейк шел за мной по пятам. Открыла перекошенную деревянную дверь. Сначала я увидела только пирамиду банок с машинным маслом, календарь с поблекшей девицей в купальнике и кипу каталогов автомобильных запчастей. Потом разглядела старика, сидящего на плетеном стуле. Выключив звук, он смотрел телевизор.

— Привет, — сказал он, не оборачиваясь.

— Добрый вечер.

— Чем могу служить?

— У нас кончился бензин, и я… Нам нужна канистра…

— Одни момент, — сказал старик, не отрываясь от телевизора. Показывали рекламу: кто-то, беззвучно ликуя, поднимал бутылку. Потом за неестественно пустым столом появился диктор. Старик вздохнул и поднялся се стула.

— Канистра, — сказал он. — Канистра…

Он исчез в углу за грудой покрышек, но вернулся оттуда с пустыми руками.

— Минутку, — сказал он и скрылся за дверью.

Едва он вышел, Джейк протолкнул меня в глубь комнаты, наклонился через мое плечо к телевизору, включил звук.

— …пока продолжается, — раздался голос диктора, — хотя, по мнению экспертов, к середине лета, возможно…

Джейк стал переключать программы. На экране появилась женщина, намыливающая голову шампунем, потом человек, произносящий какую-то речь, затем мужчина, играющий в гольф. И наконец диктор, бледный и седой.

— Этим летом движение по мосту Бэй-бридж за-

метно возрастет, — сказал он откуда-то издалека.

Джейк усилил звук. Голос стал громче, но изображение так и осталось расплывчатым. Диктор, будто понимая это, уныло перебирал листки бумаги. На экране возникли Джейк и я, мы отступали от телекамеры. Несмотря на помехи, изображение наших лиц показалось мне более отчетливым. Через неделю на экране можно будет, пожалуй, пересчитать наши ресницы, а то и прочесть наши мысли. Но на этот раз наше пребывание на телеэкране было не столь продолжительным — неожиданно мы исчезли. На смену появился мой муж: не человек, а стоячая вешалка, кожа да кости. Ввалившиеся щеки, на лице, как всегда, выражение отрешенности. Он сидел на нашем диване с цветастой обивкой. Что-то оборвалось у меня внутри.

— Дело об ограблении банка еще не закончено, — сказал диктор, — и полиция разыскивает женщину-заложницу, опознанную как Шарлотта Эмори.

Муж исчез. На экране мелькнуло мое изображение, снимок, сделанный отцом по случаю окончания средней школы, такой я была в пятидесятые годы: покрытая лаком прическа, повязанный на шею шарф и вызывающая улыбка

черных от помады губ. Потом снова появился Сол. Диктор сказал:

— Сегодня вечером наш собственный корреспондент Гэри Снайдер взял интервью у ее мужа для программы «Новости».

За кадром голос Гэри Снайдера спросил что-то, я не расслышала, что именно.

Сол перестал хрустеть суставами пальцев.

— Конечно, я обеспокоен, — сказал он, — Но я уверен, ее возвратят нам. Полиция утверждает, что бандит все еще находится в этом районе.

Его голос звучал приглушенно. Казалось, он думает о чем-то другом.

— Не могли бы вы прокомментировать заявление случайного свидетеля, утверждавшего, что они бежали вместе? Нет ли у вас оснований полагать, что она поступила так добровольно?

— Это немыслимо, — сказал Сол и медленно выпрямился с таким грозным видом, что Гэри Снайдер поспешно пробормотал:

— Э-э-э. Я только…

— Шарлотта не могла так поступить. Она порядочная женщина. Просто… я уверен, она никогда бы меня не оставила.

Что-то звякнуло. Джейк стремительно обернулся.

В дверях стоял старик с канистрой бензина в руках, он укоризненно качал головой и смотрел на телевизор.

— Ты давно его смотришь? — спросил Джейк с такой злостью, что трудно было не догадаться, о чем речь. Но старик только улыбнулся в ответ.

— Да в этой округе я первый купил себе телевизор, — сказал он. — Это у меня уже третий. Прежние отработали свое. На сей раз хотел купить цветной, но испугался облучения.

— Ну что же… — сказал Джейк.

Он расплатился со стариком за канистру и бензин. Тот предложил взять канистру в долг, но Джейк отказался: «Предпочитаю платить наличными». Он отдал деньги, взял канистру и вытолкнул меня на улицу. Когда мы выходили, старик уже орудовал у телевизора, переключая его на свою любимую программу.

Как только мы снова очутились на улице, Джейк сказал:

— Ты говорила, что собираешься уйти от мужа.

— Конечно.

— Тогда почему же он так сказал? Значит, ты наврала.

— Это он врал. Не знаю почему. Я не только хотела от него уйти, я уже раз уходила, и ему это

известно. Еще в шестидесятом. А в шестьдесят восьмом сказала, что снова уйду. Я ему это много раз говорила, только не могу вспомнить, когда именно…

— О черт, одно к одному…

— Вы о чем?

Но он не ответил. Мы все еще шли, мягко шлепая по мокрому шоссе. Похолодало, начался мелкий, пронизывающий дождь.

О, как бы мне хотелось сказать этому Солу пару теплых слов! Он всегда так, вечно твердит: «Я уверен, ты меня не бросишь, Шарлотта». Посмотрел бы он на меня сейчас. Вот бы отправить ему открытку: «От души наслаждаюсь. Наконец-то я в пути. Привет всем». Из Флориды, с Багамских островов или с Ривьеры.

Но тут я ступила в лужу, и холодная вода обдала меня до самых колен, туфли промокли насквозь, как бумажные; мы обогнули поворот и увидели машину: она стояла в темноте, неуклюже накренившись к обочине, словно хромой человек. Мы подошли к ней. Джейк открыл дверцу, просунул руку внутрь, включил свет. Зажглись фары, но лампа внутри вспыхнула и снова погасла.

— Господи! — воскликнула я (только теперь я увидела, кто это за машина). — Господи, да что

же это такое?

— Ты о чем? — спросил Джейк. Он поставил канистру на землю и отвернул крышку бензобака.

— Господи, да это же какое-то ископаемое!

— Точно. Наверно, модель пятьдесят третьего года.

— Но… — Я отступила, глядя на торчащую решетку, на бампер, похожий на проволочный каркас для исправления зубов. Длинный приплюснутый корпус машины был испещрен хромом в самых неожиданных местах. Козырьки, будто ресницы, скромно опущены над фарами, да и сами фары весьма странного цвета, подумала я, бледно-оранжевые, мутные, — Ее видно за милю! — сказала я. — Каждый встречный запомнит. Она всем будет бросаться в глаза, как… ради бога… — Бензин с бульканьем вливался в бак. — Это же чистый идиотизм.

Канистра отлетела далеко в сторону, в кусты, что-то затрещало.

— Влезай, — сказал Джейк.

Я влезла, он — следом за мной и захлопнул дверцу.

Мотор расчихался, мы тронулись, машина качалась и подпрыгивала на скрипучих, визжащих рессорах. Я откинулась на спинку сиденья и за-

крыла глаза.

— Ну что же, — донесся до меня голос Джейка. — По крайней мере ты избавилась наконец от своего чудовища мужа, от этой уродливой цветастой кушетки и дурацкой старомодной лампы с бисером. Нет, меня в такую клетку не засадишь. Радоваться надо, что вырвалась оттуда. Еще будешь благодарить меня. Вот как я смотрю на это дело.

Но только эта лампа у нас и осталась, хотелось мне сказать. Все остальное я раздала. И ковры раздала, и шторы, и чуть ли не всю мебель. Больше вроде и избавляться не от чего. Голова у меня наливалась тяжестью, глаза слипались. Я заснула.

# *Глава 6*

Мне снился муж, только молодой, и щеки у него тогда еще не ввалились. На нем был спортивный свитер, я даже забыла, что он носил такой. В брюках цвета хаки, как те от военной формы, в которых он ходил, когда ухаживал за мной. Я увидела его и загрустила.

Мальчиком мой будущий муж жил по соседству с нами, но нельзя сказать, что мы росли вместе. Он на несколько лет старше — в школьные годы разница достаточно заметная. Когда я училась в восьмом классе, он был уже выпускником: долговязый, ленивый, непутевый парень, один из отпрысков семейства Эмори. Кто таков Сол Эмори, знали все. Я же в ту пору только начинала формироваться. Совсем еще была ребенок. С тех пор как я заметила, что у меня появилась грудь (две небольшие припухлости, вроде подбородков моей матери), я стала морить себя голодом, и на висках у меня просвечивали синие жилки, а на запястьях, коленях и локтях можно было пересчитать все кости. Осанка у меня была никудышная, и с волосами никакого сладу.

Сол Эмори окончил школу и уехал, а годы шли, вот уже и я стала выпускницей, секретарем школьного совета, претенденткой на звание королевы бала на встрече с бывшими выпускниками. К тому времени я начала пользоваться авторитетом. Вполне заслуженно. Я так ради этого старалась. Больше всего мне хотелось, чтобы все окружающие считали меня не хуже других.

Огромным усилием воли я добилась, что обо мне заговорили как о самой веселой девушке в выпускном классе. И самой элегантной: я душилась одеколоном «Цветок пустыни», на шее носила нитку искусственного жемчуга, красила губы модной розовой помадой и то и дело подмазывала в уборной рот маленькой мягкой кисточкой, какими обычно пользовались манекенщицы. У меня было несколько поклонников, но ничего серьезного. Были и подруги; сколько раз на девичниках мы накручивали друг дружке волосы на бигуди. Сама я конечно, никогда не устраивала таких девичников. Никто у меня не спрашивал почему.

После занятий я оставалась на собраниях школьного клуба для девушек, на встречах Почетного общества, на заседаниях комиссии по организации выпускного бала, в командах бо-

лельщиков… Но всему этому рано или поздно приходил конец. И я снова возвращалась домой, окуналась в затхлую атмосферу, выслушивала всегдашние вопросы родителей: почему я не попрощалась сегодня утром? Что задержало меня так поздно? Какой мальчик меня провожал? И не побуду ли я хоть одни вечер дома?

Я смотрела на них с высоты своего роста (к этому времени я уже переросла их обоих), и все опять становилось на свои места: я вспоминала, что я такое на самом деле. В мутном зеркале за спиной матери мое жемчужное ожерелье выглядело так же дико, как бусы из медвежьих когтей. А лицо мое отливало желтизной.

Я окончила среднюю школу и получила неполную стипендию для занятий математикой в Марксоповском колледже в городе Холгит. Все это произошло слишком просто. Я ломала себе голову, в чем же здесь фокус.

Тем не менее в начале сентября я очутилась в отцовском пикапе, на заднем сиденье громоздились мои чемоданы. Мама с нами не поехала, ей было трудно ездить. Я махала ей рукой из окна пикапа. И с тревогой думала: а вдруг она догадалась, как я рада, что она остается дома? Не потому ли она и осталась? Я замахала еще сильнее, по-

сылая ей воздушные поцелуи. Уж на этот раз я не стала увиливать от прощания.

Отец отвез меня в Марксоповский колледж, хотел было мне что-то сказать, но в последнюю минуту раздумал и уехал, оставив меня в общежитии. Я приехала одной из первых, очень уж мне не терпелось сюда попасть. Соседка по комнате — кто она, неизвестно — еще не приехала. Был полдень, столовая открывалась только к ужину; я съела яблоко, которое захватила из дому, и несколько печений с инжиром — мама сунула их мне в чемодан. Эти печенья неожиданно вызвали тоску по дому. Каждый кусочек острой болью отзывался в груди. В конце концов пришлось убрать их в комод. Потом я распаковала вещи, постелила простыни на одну из кроватей, прошлась по коридору, заглядывая в пустые спальни, вернулась к себе и полчаса просидела за письменным столом, уставясь в окно на пустое небо. Я привезла с собой занавеси, но не хотела их вешать, пока соседка по комнате не одобрит. Однако время тянулось медленно; все-таки повешу, решила я. Развернула занавески, сбросила туфли и влезла на батарею. Раскинув руки и расставив ноги, я случайно глянула вниз на прямоугольник двора. И кого же я там увидела? Моего толстого кузена

Кларенса: тяжело переваливаясь, он направлялся к нашему общежитию. Так я и знала — от них далеко не убежишь.

Отец попал в больницу. На обратном пути его машина потерпела аварию. Врачей беспокоили не столько травмы, сколько сердечный приступ — причина аварии. А может, авария была причиной сердечного приступа. Думаю, им так и не удалось в этом разобраться.

Три недели мы не оставляли его ни на минуту; мама, сидела на своем садовом стуле, который Кларенс принес из дому, я — в кресле. Мы следили за лицом отца — на подушке оно выглядело таким странным. Кожа вокруг глаз сморщилась. Ему трудно было произнести даже несколько слов. Он почти все время спал, мама плакала, а я сидела и старалась ему внушить, чтобы он скорее проснулся, и тогда я бы смогла наконец получше его узнать. Как же я допустила, что он занимал в моей жизни так мало места? Каких только обещаний я не давала себе у его постели, известно, что за обещания дают в таких случаях. Я приносила матери чай и глазированные пончики — единственное, что она могла есть. Сама вела переговоры с врачами и сестрами. Пыталась читать женские журналы, но все эти рассуждения

о косметике, диетах и прочей ерунде вызывали у меня тошноту. Не помню, чтобы я ела там что-нибудь, хотя вряд ли могла обходиться без еды.

Потом его выписали, но домой отвезли в карете «скорой помощи». Мы поставили кровать в студии и уложили его на спину. Теперь лицо отца уже не было мертвенно-бледным. Он стал вести себя более естественно: жаловался на грубый лейкопластырь, которым были стянуты его сломанные ребра, беспокоился, что приходилось отказывать клиентам.

— Шарлотта, — сказал он, — ты же умеешь обращаться с этим аппаратом. Может, поработаешь неделю-другую, пока я не встану на ноги? Справишься?

Я согласилась. К тому времени я просто окаменела. Теперь, когда опасность миновала, я вдруг поняла, что все это означает для меня. Я очутилась в западне, из которой нет выхода. Без моей помощи мать не могла даже посадить его на постели. Жизнь представлялась мне бескрайним, покрытым плесенью ковром.

Мне казалось, что фотографии замораживают человека, прикалывают его к картону, как бабочку. Зачем они нужны? Но людям они, видно, были нужны. Матери из бедных белых семей, в легких

вискозных нарядных платьях, держали на руках разодетых младенцев. Солдаты обнимали худых, мелко завитых девушек. Я фотографировала равнодушно. Камера была старая, громоздкая, почти все приходилось делать в темноте. Но я пользовалась этим аппаратом всю жизнь и не понимала, почему отец вдруг стал таким нетерпимым и раздражительным.

— Отодвинь-ка немного эту лампу, — говорил он с кровати. — Тебе не нужен такой яркий свет. Снимай в ракурсе. Не люблю фотографировать в фас.

Ему нравились снимки в профиль. Опущенные глаза. Склоненное лицо. Эркер с выставленными в нем работами отца напоминал поле в цветах, склоненных, одним и тем же сильным ветром.

В темной комнате (переделанной из чулана) мне порой нечем было дышать. Я стискивала зубы и терпела, продолжая проявлять фотографии, но присутствовала при этом лишь частью своего сознания. В чулане меня угнетало решительно все: кругом хлам, все облупилось, протекает. Этикетки на бутылках с реактивами отклеились. Беспорядок страшный, ничего не найдешь. Похоже, отцу это было так же безразлично, как и мне.

Но по его поведению об этом нипочем не до-

гадаешься. Он суетился, суетился без конца. С недоверием относился ко всему, что я делала. Когда приходило время показывать ему отпечатки, он требовал, чтобы я развесила их на веревке возле кровати; наступало долгое неодобрительное молчание — он лежал, хмурился, пощипывал усы и наконец говорил:

— Сойдет. Большинство людей все равно в этом не разбираются.

Но я не считала свою работу безнадежно плохой. Честно говоря, большинство клиентов, кажется, предпочитали меня отцу. У него ведь были такие устарелые понятия. Он по-прежнему фотографировал детей на фоне своей ионической колонны. А я, я готова была снимать всех, как им угодно. Мне было безразлично.

Мало-помалу мы стали занимать в доме все меньше и меньше места. Закрыли комнаты, в которые надо было подниматься по лестнице — отцу это было трудно, — и те, отапливать которые нам было не по карману. Знакомых тоже становилось все меньше. Пикап стоял на шлакобетонных чурбаках на заднем дворе, да и все равно ни мать, ни я не водили машину, так что за покупками мы ходили пешком. В гостях у нас никто но бывал. Семья Эмори к тому времени переехала, а другим

соседям наше семейство казалось странным. Подруги мои учились в колледжах или повыходили замуж, и я навсегда потеряла их из виду. Дошло до того, что я стала радоваться редким клиентам, как родственникам, с которыми давно не виделась. Но они смотрели на нас с недоумением. Представляю, какое мы производили впечатление. Толстая мать в эластичных чулках, одряхлевший отец и дочь — угрюмая старая дева, захламленный дом, где все вверх дном, а на чердаке явно водятся летучие мыши.

Колледж известил меня, что при желании, я могу начать занятия в январе. Не знаю, на что я надеялась, может, на то, что колледж закроют до тех пор, пока я смогу туда вернуться. Они даже не сообщили, кто моя соседка но комнате, да она наверняка успела найти себе другую соседку. Меня преследовало ощущение, что теперь все пропало. Каждый клиент, стоявший вверх ногами в моем фотоаппарате, казался счастливее меня.

К декабрю врачи разрешили отцу вставать. Первым делом он снял с веревки мои фотографии и развесил свои. Ему, конечно же, давно не терпелось сделать это. Он стоял, в вельветовых шлепанцах, в свитере, небрежно заправленном в брюки, и показывал на фотографии двадцати-

летней давности.

— Посмотри, вот прекрасный снимок… Это был очень влиятельный человек, насколько я помню, со временем он пошел в гору в правительство округа. Думаю, он обратился ко мне потому, что я делаю честные портреты. Понимаешь, Шарлотта, я никогда не занимался этим — не приукрашивал фотографии. Глупо представлять человека не таким, как он есть.

Он тонул в своей одежде, седые волосы приобрели табачный оттенок, кожа сморщилось и обвисла. Но я не могла заставить его хоть немного отдохнуть. Он извлекал новые и новые фотографии, прикреплял их к доске, расставлял по полкам на специальные подставки. Деловые люди, выпускники средних школ, женские групповые снимки давних лет, и в конце концов все свелось к солдатам и разодетым младенцам. Но малыши на его фотографиях были серьезны, а солдаты стояли возле своих подружек такие чопорные, словно отцы семейств. Лица у всех были озадаченные, непроницаемые, позы — безупречные. Никто не улыбался. Раньше я этого никогда не замечала.

— Послушай, — сказала я, — все это похоже на старомодный фотоальбом.

— Делать похожий портрет вовсе не старомодно, — возразил отец.

Я боялась, как бы у него не началась обычная депрессия. Он развешивал фотографии с лихорадочной поспешностью, даже не глядя на них, вытаскивал новые и новые снимки на заржавленного зеленого шкафа рядом с кроватью.

— Посмотри-ка вот… А это был… Этот человек заказал мне сорок экземпляров — так ему понравилась моя работа.

— Очень мило, папа, — сказала я. Хотелось одного: чтобы он перестал суетиться. Мне были совершенно безразличны все эти снимки — и его, и мои, — Не пора ли тебе отдохнуть? — предложила я.

— Спроси у мамы, куда она девала мои старые негативы?

Я пошла к маме. Сидя на своем стуле, она смотрела в кухне телевизор.

— Отец просит старые негативы, — сказала я.

— Какие негативы? Я-то тут при чем? Не знаю, зачем он копит это барахло. Они постепенно трескаются под собственной тяжестью. Сама понимаешь, никто не станет заказывать у него копии: почти всех этих людей уже нет на свете.

Я вернулась в студию.

— Мама их в глаза не видела, — сказала я.

Отец разбирал фотографии прихожан, хранившиеся в коробке из-под обуви, и посмотрел на меня так, будто это я потеряла его негативы. Не знаю, за что он так на меня сердился.

Той ночью мне приснился сон: я приехала в колледж, а он заперт, всеми покинут, на территории — ни души. Но, проснувшись, я быстро пришла в себя. Надела халат и спустилась в кухню приготовить кофе. Пока он закипал, я смотрела в окно на солнце, просвечивающее сквозь путаницу покрытых инеем ветвей. Потом налила две чашки кофе — одну для себя, другую для отца — и понесла в студию. Отец лежал на постели под безукоризненно гладким одеялом. Он не дышал. Со всех сторон его окружали фотографии неулыбчивых людей. Но ни одна из них не была такой застывшей, как мой отец.

Дядя Джерард позаботился о похоронах. Он и тетя Астер присутствовали на них (не знаю, был ли там еще кто-нибудь), я осталась дома с мамой. Она была раздавлена горем. Она разваливалась на части и вместе с собой разрушала все вокруг. Сидела на своем стуле и все теребила, теребила подушку, пока клочки пуха не разлетались по ковру. Ощипывала догола комнатные растения,

а потом скатывала и разрывала на мелкие кусочки каждый листик. Иногда она рассеянно проводила рукой по голове и вырывала волосы, прядь за прядью. Я не знала, что с ней делать. Только и придумала, что держать ее за руки и приговаривать:

— Да перестань же!

— Так я и знала, что это случится, — твердила она бесцветным голосом. Трудно передать, до чего страшно слышать, когда человек вот так роняет слово за словом. — Именно этого я всегда боялась больше всего, и вот это случилось, и теперь я навсегда осталась без мужа.

А мне-то казалось, что она должна испытывать облегчение. Бояться теперь уже нечего. Но вслух я, конечно, ничего такого не сказала, погладила ее руку, принесла ей чаю. А как только она заснула, пошла к дяде. Я была в отчаянии. Январь стоял на пороге.

— Дядя Джерард, — сказала я, — мне надо вернуться а колледж.

— В колледж? — переспросил он и закурил вонючую черную сигару.

— Мне дали неполную стипендию, а с деньгами, вы сами знаете, у нас туго. Придется попросить у вас взаймы.

— Что ж, милая, денег я тебе, конечно, одолжу, — сказал дядя Джерард, — Ну а с мамой-то что будем делать?

— Не могу же я всю жизнь сидеть возле нее.

— И тебе не стыдно, девочка? Она же убита горем. И в такой час ты хочешь ее оставить?

— Может, она поживет с вами?

— С Астер и со мной?

— Или, может, вы время от времени будете навещать ее или посылать к ней Кларенса? Чтобы она просто…

— Послушай, вот что я тебе предлагаю, — сказал дядя Джерард. Он уперся руками в свои толстые ляжки и наклонился вперед, обдавая меня запахом жженой резины. — Тебе сколько, семнадцать? Восемнадцать? Посмотри на себя. У тебя вся жизнь впереди. Отложи учение на год. Начнешь занятия следующей осенью. Что такое год в твоем возрасте!

— Одна восемнадцатая моей жизни.

— Сделаем так: ты останешься дома с матерью до следующего сентября. А я полностью возьму на себя все твои расходы. И не нужно тебе ничего занимать. Ну как, по рукам?

— Согласна. Спасибо, дядя Джерард, — сказался.

Я видела, он хочет мне добра. В конце концов, он ведь тоже не богач — всего-навсего владелец небольшого ателье химчистки. Но, уходя, я так и не смогла заставить себя попрощаться с тетей Астер, у которой были золотистые волосы и такая ухоженная кожа. Когда она окликнула меня из кухни, я сделала вид, будто не слышу.

Маме не становилось лучше. Вдруг она и к сентябрю не поправится? Я оказалась заточенной во времени. Оно превратилось для меня в самое замкнутое пространство. Ежедневно надо было помогать маме одеваться и повторять одно и то же. Она же говорила только об отце. ……

— Я вышла за него замуж с отчаяния. Ничего лучшего не было. Никогда не плыви по течению, Шарлотта…

— Ни за что, мама.

Этого она могла мне и не говорить…

— Он с самого начала что-то затаил против меня. До сих пор не знаю, что именно. Ему нравились полные женщины, говорил он. Но вскоре он начал пилить меня, требовать, чтобы я меньше ела. «Это почему же?» — спрашивала я. Очень я удивлялась, что он так себя ведет… Но я старалась, да ради него я… Сколько раз отказывалась от еды — такой слабой делалась, голова кружилась — и

все, чтоб хоть немного похудеть. А потом — сама не знаю, как это получалось, — опять начинала есть. Так уж я устроена, просто мне нужно больше еды, чем другим людям. Впрочем, какая разница, это ничего бы не изменило. Он вечно был чем-то не удовлетворен, такой уж это человек, Шарлотта, что же я могла поделать?

— Не знаю, мама…

— Думаешь, он тоже считал, что пришлось плыть по течению?..

— Ну что ты, мама.

Он без конца повторял: «Боже, ну почему мне суждена такая жизнь?» И тогда я говорила: «Уходи, уходи, кто тебя держит? Иди на все четыре стороны, если тебе здесь не нравится. Женись на какой-нибудь шлюхе». Но он только смотрел на меня исподлобья и не отвечал ни слова. «Я сама найду тебе невесту», — говорила я. Но меня бы это убило, Шарлотта. Смешно, правда? Смейся. У него было такое кроткое, такое грустное лицо. И он всегда склонял голову набок, когда слушал кого-нибудь. О Шарлотта, был ли он хоть немного счастлив со мной, как ты думаешь?

— Конечно, был, мама.

А после этого мне необходимо было уйти, просто необходимо. Я шла в студию, где отцов-

ские фотографии по-прежнему отводили глаза, а за окном по-прежнему качалась изогнутая металлическая вывеска: ФОТОСТУДИЯ ЭЙМС. ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ПОРТРЕТЫ. Иногда кто-нибудь звонил у входной двери, и я открывала. Я делала любые фотографии, какие ни попросят, ведь более интересных занятий у меня не было.

— Можно снять моего пуделя? Он старый. Хотим иметь о нем память на случай, если он скончается.

Отец бы, наверное, содрогнулся. Но не могу сказать, чтобы меня это беспокоило. К тому же мы нуждались в деньгах.

В эту зиму мы едва сводили концы с концами. Дядя Джерард время от времени подбрасывал нам по десять долларов, но их хватало только на лекарства от давления для мамы. Отчаявшись, я вывесила объявление: СДАЮТСЯ КОМНАТЫ, и фабричный сторож мистер Робб снял у нас спальню с окном на восток. Но она не очень-то его устраивала. Он жаловался, что мы плохо топим. И три недели спустя съехал. Объявление покрывалось пылью. Я пыталась, получить побольше работы, и просила всех клиентов рекомендовать нас своим друзьям, но безуспешно. Думаю, их отпугивал вид моей матери. У нее была привычка

неожиданно заходить в студию во время съемки; с трудом передвигая свое грузное тело, хватаясь за мебель, она появлялась на пороге. Я догадывалась об этом по ошарашенному выражению на лице клиента.

— Поразительно, — говорила она, останавливаясь в дверях, — как быстро распространяется весть о том, что человек умер. Не так ли? Я хочу сказать, если человек умирает в одной комнате, то в другой его еда остается нетронутой; он не приходит вовремя на прием к врачу; фотографии, которые он разбирал, так и остаются в беспорядке. Исключений не бывает — так уж устроен мир…

— Это моя мать, — объясняла я клиенту, — Повернитесь, пожалуйста, к свету.

— …Впрочем, я всегда не очень-то доверяла материальному миру, — продолжала мать. — Вот, например, поставишь куда-нибудь чашку, а через две недели, глядишь, как ни странно, она стоит все там же. Хоть бы раз было исключение, хоть бы раз она вернулась на свою полку… Или возьмем земное притяжение: почему это никогда не удается застигнуть его врасплох, хоть бы раз удалось поставить неожиданно поднос в воздухе, правда?

Клиент смущенно кашлял.

— Теперь я понимаю, что никогда не доверяла миру до конца, — говорила она и удалялась.

Бывали особенно невыносимые дни, когда хотеть бежать куда глаза глядят, но я, конечно, так и не сбежала.

Однажды днем в конце марта у входной двери раздался звонок, я открыла: передо мной стоял высоченный солдат с пилоткой в руке. У него были прямые черные волосы и непроницаемое, замкнутое лицо. Лицо одного из Эмори. Я только не была уверена, которого именно.

— Эймос? — спросила я.

— Нет, Сол.

— Сол!

— Здравствуй, Шарлотта. — Он не улыбнулся (Эмори редко улыбаются, просто глядят этак спокойно). — Я прочел твое объявление. Приехал в город, чтобы продать дом и мастерскую, и подумал, нельзя ли снять у вас комнату с пансионом, пока не улажу свои дела.

— Конечно, — сказала я. — Будем тебе рады.

— Я слышал, этой зимой вам туго пришлось.

— Да, нелегко.

Сол только кивнул. Эмори привыкли к бедам, они не поднимали из-за этого лишнего шума.

Откуда мы знали семейство Эмори? Очень

просто: у их матери, Альберты, душа была нараспашку. Она рассказывала о своих делах всем и каждому, даже нам. Принесет, бывало, пирог или миску свежих ягод и полдня простоит на пороге нашей кухни — и все говорит, говорит мягким звучным голосом. Про своего мужа, Эдвина Эмори, радиотехника, который больше пил, чем работал. И про четырех здоровенных сыновей: Эймоса, Сола, Лайнуса и Джулиана. Джулиан был моим ровесником, остальные — старше. Все мужчины в этой семье — люди странные, непутевые, но благодаря Альберте мы всегда знали, чего от них ждать. Эймос беспрестанно бегал из дому, у Сола вечно были осложнения с девушками, Лайнус был подвержен необъяснимым приступам ярости, а Джулиан любил азартные игры. Не было дня, чтобы с ним не происходили какие-нибудь неприятности.

Альберта была женщина цыганского типа, по-своему красивая, всегда небрежно одетая, неподтянутая, но выглядела поразительно молодо. Летом она часто ходила босиком. Конечно, я любила ее. Ловила каждое ее слово: «А дальше что? А что потом?...» Мечтала, чтобы она удочерила меня. Завидовала ее людному дому и удивительным бедам. Потому что несчастья

для Альберты были как сокровища. Видишь, словно говорила она, какая яркая у меня жизнь. Сколько событии бог мне посылает. И поднимала теплые смуглые руки, щедро расплескивая свои богатства… «Эта женщина не способна мыслить здраво», — говорила моя мать. Думаю, речь шла о неспособности Альберты уразуметь, что ей приходится плохо. Может, она нравилась бы, маме гораздо больше, приди, она хоть раз в слезах. Но Альберта никогда не плакала. Она сообщала о своих новостях между взрывами хохота: скандалы, несчастья, чудеса, таинственные истории. Кто-то влез в радиомастерскую, разорил ее и оставил записку: «Простите за беспокойство». Почерк Джулиана. Ее свекор заявился, к ним в дом со всем своим скарбом, накопленным за шестьдесят лет: вырезками из газет, старыми театральными костюмами. Свободной спальни не нашлось, и он ночевал, у них в столовой, среди бутафорских-горностаевых мантий, военных мундиров, мечей, корон и картонок со шляпами. В любое время дня и ночи он требовал от нее вегетарианских блюд для поддержания сил. «Этот дом надо заколотить и объявить непригодным для жилья», — говорила мама.

Когда я училась в предпоследнем классе, Аль-

берта сбежала со своим свекром.

Да, такое случалось не каждый день. Эдвин Эмори ходил сам не свой, но потрясен он был не больше, чем я. Я не могла понять, почему она бросила их на произвол судьбы (бросила меня). Она всегда казалась мне очень счастливой. Но я также думала, что мужские вокальные квартеты в радиопрограммах — это один человек с хриплым голосом. Короче говоря, одурачить меня было проще простого. Может, все семьи, даже нормальные с виду, если присмотреться, такие же странные, как наша. Может, Альберта в глубине души была такой же удрученной, как и моя мать. Или, может, как говорила мать, «эта женщина просто хочет, чтобы ей во всем завидовали, даже ее амурам с тронутым молыо свекром». Раньше мне это не приходило в голову.

Поначалу я еще носила в дом Эмори печенье и пирожки, но они принимали это равнодушно. Они замкнулись в себе, и дом их затих. Эдвин сидел в своем теплом белье и пил вино, а Лайнус тем временем пытался вести дела в мастерской (Сол и Эймос давно уехали из дому). Но Лайнус был не в ладах с техникой, у него началось нервное расстройство, и его отправили жить к тетке. Потом Джулиан перестал появляться в школе.

Он подрался из-за карточного долга, и больше о нем не было ни слуху ни духу. Последним, ушел Эдвин. Когда и куда, мы точно не знали. Просто исчез, и все.

Однажды я выглянула в окно и вижу: какой-то незнакомый человек заколачивает дом Эмори — мамино предсказание сбылось. На этом все кончилось.

По крайней мере так казалось до возвращения Сола. Форма на нем выглядела плотной и чистой, будто ее сделали из металла. Он стоял в комнате так, словно врос в землю. Было ясно, я потеряла Эмори из виду, но от этого они никуда не исчезли. Хотя Сол и не знал, где сейчас его братья, ему было известно, что все они живы, даже Джулиан. Альберта со свекром жили где-то в: Калифорнии, по крайней мере до последнего рождества. Его это не очень интересовало. Навсегда исчез только Эдвин. Он умер от болезни печени, когда гостил у своей сестры в Нью-Джерси.

— И вот теперь фирма «Амоко» намеревалась купить их дом, чтобы снести его и на этом месте построить свою заправочную станцию в пику компании «Тексако». И Сол приехал продать дом, а вырученными деньгами покрыть долги, заплатить налоги. Он хотел продать и мастер-

скую, говорил, что уступит ее за любую цену, подпишет бумаги и уедет. Он только что демобилизовался, надо было устраивать жизнь. Не мог он себе позволить тратить на все эти дела много времени. И все-таки был вынужден. Формальности, связанные с продажей дома, заняли гораздо больше времени, чем он предполагал; известно, как сложно получить документы на владение домом, особенно когда имеешь дело с Эмори, кроме того, кто польстится на эту убогую радиомастерскую? Он прожил у нас весь март, и апрель. Я была рада… Присутствие Сола вносило в нашу жизнь некоторый порядок. Волей-неволей мы должны были жить более организованно, вовремя кормить его. К тому же у него были умелые руки, и он починил массу вещей, которые годами ждали ремонта. По вечерам он смотрел телевизор вместе со мной и мамой, (несмотря на его учтивые манеры, она не говорила ему ни слова) или приглашал меня куда-нибудь. Мы ходили в кино, в ресторанчики, в кафе-мороженое. Он держал себя как брат, не пытался даже взять меня за руку, но все время мерил меня оценивающим взглядом. Я не знала, чего он ждет. Когда вечерами я поднималась к себе в спальню, там из зеркала на меня смотрела молодая девушка в

свитере и юбке, отнюдь не мрачная старая дева.

Конечно же, я влюбилась в него. Разве могло быть иначе? В его безмятежное, чистое лицо, в эти глаза с тяжелыми веками. Кажется, впервые в жизни я вдруг поняла, что в голове другого человека может скрываться целый мир, о котором я не имею ни малейшего представления. Мне очень хотелось знать, что он думает про все на свете. Как он жил в своей семье, с такой матерью как Альберта? Что чувствует теперь, проходя мимо своего дома с перекошенными ставнями? Он молчал. Я не решалась спрашивать. Всякий раз, когда я видела его, у меня чесался язык, но Сол был до того замкнутый, что открыть рот было выше моих сил. Мы прятались за дружеские пустяковые разговоры о продаже недвижимости, о подтекающих кранах. Настоящий разговор шел без слов: он застегивал на мне жакет так, словно заворачивал хрупкий подарок. Знал, как поднять сзади волосы и как уложить их на воротник. А я извела целых три миски теста, пытаясь по Альбертиному рецепту приготовить из гречневой муки блины. Даже моя мать принимала участие в этом безмолвном разговоре. Когда мы оставались втроем, она застывала в неподвижности и молчании. С испугом, как загнанный зверек,

смотрела на нас. Все мы были связаны одной ниткой — стоило пошевелиться одному, чтобы другие тотчас пришли в движение.

И вот однажды апрельским вечером, возвращаясь домой из кино с какого-то фильма с Ланой Тернер, мы, шли мимо мастерской его отца. Узкая, угрюмая деревянная постройка, втиснутая между закусочной и сапожной мастерской, все это время пустовала и была точно черный провал беззубого рта. От одного ее вида я готова была заплакать. Что же испытывал Сол? Я дотронулась до его плеча, — он остановился, взял мою руку в свою, посмотрел на меня.

— Послушай.

Я испугалась… Подумала, он сердится, что я дотронулась до него; нарушила установившееся равновесие. А он вот что сказал:

— Я ведь пока еще без работы, Шарлотта.

— Без работы? — переспросила я.

— И вроде нет у меня никаких интересов… Не знаю, что я буду делать в жизни. Просто жду, что выпадет на мою долю. Но пока мне не выпало ничего.

Я не понимала, куда он клонит, и только хмыкнула в ответ.

— Я говорю о себе и о тебе, Шарлотта.

— А!.. — сказала я.

— Прежде чем я смогу тебе что-нибудь сказать, я должен как-то обеспечить себе будущее.

Я по-прежнему ничего не понимала. Честно говоря, это было похоже на извинение. Я привыкла к школьным романам, в которых будущее не имело никакого значения.

— И это все, что тебя интересует? Но ты мне больше нравишься без будущего, — сказала я.

Он пропустил мои слова мимо ушей, лицо его оставалось озабоченным всю дорогу до дома. Но руку мою он не выпустил и на крыльце поцеловал меня — один только раз, и очень серьезно, как человек много-много старше меня. Собственно, так оно и было. Я была совсем еще девчонка! И о будущем думать не думала. Ужасно странно: вот так коснуться друг друга, скользнуть по поверхности, не затрагивая таинственной внутренней сущности. Я могла бы простоять всю ночь, уткнувшись головой в его шерстяное плечо. Это Сол сказал наконец, что надо войти в дом.

Мать начала как-то уменьшаться, съеживаться, усыхать. Ей было страшно. Я видела, как она смотрела на Сола своими блестящими глазами в красных прожилках. Чем лучше он обращался с ней, тем с большим подозрением она относилась

к нему. Когда он спрашивал ее о чем-нибудь, она подолгу не отвечала: ей приходилось пробиваться через множество слоев страха. Ночью, когда я помогала ей укладываться в постель, она хватала меня за руку и вглядывалась в мое лицо. Ее губы безмолвно шевелились. А потом я спускалась вниз, Сол тоже хватал меня за руку и притягивал к себе. На мгновение меня охватывали смущение и растерянность.

— Что с тобой? — спрашивал он, но я молчала.

Я все старалась понять его. Это было нелегко. Ему недоставало беспечной дерзости, которой я так ждала от него, даже надеялась в нем найти. Чего-чего, а серьезности у него хоть отбавляй. (Когда я училась в школе, нам говорили, что надо искать чувство юмора). Он держался со мной строго, без тени усмешки, и я робела. К тому же я не могла понять смысла всех этих разговоров о работе. Казалось, он ждет, чтобы призвание пришло к нему, как судьба. В самом деле, он такой был доверчивый!

— Может, тебе надо отправиться на поиски, счастья? — говорила я полушутя. — Вот я непременно отправилась бы. Ох, как же мне хочется уйти вместе с тобой. Хоть завтра, куда глаза глядят.

— Нет, ты бы не ушла, — сказал он. — Оставить мать в таком положении?

Не понимаю, как этот человек мог быть сыном Альберты.

В мае он купил мне кольцо к помолвке. Вечером, когда мы втроем сидели за ужином, он вынул его из кармана — кольцо с маленьким бриллиантом. Ничего такого я не ожидала. Он надевал кольцо мне на палец, а я смотрела на него во все глаза.

— Я решил, что уже пора, — сказал он мне. — Простите, миссис Эймс, я не могу больше ждать. Я хочу на ней жениться.

— Но я… — пробормотала мама.

— Это будет не сразу, — продолжал он. — Я пока никуда не собираюсь ее увозить. Я даже не знаю, чем буду заниматься. Мы останемся здесь до тех пор, пока будем нужны вам, поверьте. Обещаю вам…

— Но… — сказала мама.

Тем все и кончилось.

Я должна была отказать ему. В конце концов, я, не была совершенно беспомощной. Надо было сказать: «Прости. Но для тебя нет места в моей жизни. Я никого не собираюсь брать с собой в это путешествие». Но я не сказала. Он сидел рядом, и

удивительный, незнакомый мужской запах его кожи вызывал во мне такую любовь, что я была прямо сама не своя. Слова его были очень отчетливые, будто говорил он со мной в трескучий мороз. Мне в голову не пришло ему отказать.

# *Глава 7*

Проснулась я от ощущения качки и тряски. Приподнялась, огляделась вокруг. Солнце светило так ярко, даже глазам стало больно, но я все-таки увидела, что мы остановились на заболоченном поле соломенного цвета. Джейк сидел за рулем и что-то бормотал. Двое мужчин в джинсовых куртках изо всех сил наваливались на машину сзади.

— Взяли! — крякнул один из них, и я почувствовала толчок. Колеса забуксовали.

— Вот идиоты! — сказал Джейк, выключая зажигание. — Не могут навалиться разом.

— Что происходит? — спросила я.

Он искоса взглянул на меня и вылез из машины.

— Надо подогнать вон тот трактор, — обратился он к тем двоим. — Подтолкнуть сзади. Только и делов.

— Трактор? Какой трактор? — спросил один из них, — Это ты про вон ту развалину? Да она всего-то на двенадцать лошадиных сил. Жена орудует ею в огороде. Думаешь, этой штукой можно тебя вытащить? И потом, к машине сзади никак но

подберешься. Уж больно крутой подъем.

— Тогда дерните спереди. Мне все равно.

— И спереди ничего не выйдет. Это же не трактор, а черт-те что. На нем навоз и тот не вывезешь.

— Послушайте, — сказал Джейк. — Вот двадцать долларов — они ваши, если приложите руки.

В заднее стекло я видела, как он передавал деньги человеку в красной клетчатой кепке. Изо рта у них вылетали маленькие клубы пара.

— И все двадцать по одному доллару? — спросил мужчина.

— Деньги есть деньги.

— Ну что ж, пожалуй, можно попробовать. Пошли, Кейд.

Мужчины зашагали через поле. Джейк вернулся в машину. Вместе с ним ворвалась струя холодного воздуха. Я задрожала и сложила руки на груди. Мне было не по себе: пропала куда-то целая ночь.

— Где это мы? — спросила я.

— Посмотри в окно, увидишь. Посреди пшеничного поля.

— Да, но как мы сюда лопали?

— Кажется, я заснул за рулем, — сказал Джейк.

Он потер подбородок, который уже покрылся щетиной. — Наверняка заснул, — повторил он. — Чудно. Я же могу обходиться без сна. Не нужен он мне. Не то что другим. На вечеринках я могу не спать целую ночь, а наутро отправляюсь на работу как ни в чем не бывало. А захочу — могу и следующую ночь не спать. Иногда бывает тоскливо. Все кругом храпят, а ты нет. Знаешь, как это получилось: я просто ехал, не думал ни о чем — и вдруг очутился посреди поля. Глухая ночь. Вокруг ни души, ты дрыхнешь как убитая. Мне только и оставалось спать дальше. Утром пришлось дожидаться, пока в овсе не появились эти двое.

— В пшенице, — поправила я, хотя, честно говоря, не могла отличить одно от другого.

Я прищурилась, поглядела из окна машины на желтеющие стебли и увидела: человек в кепке едет к нам на маленьком зеленом тракторе, а рядом шагает Кейд, размахивает свернутым тросом.

— Вот увидишь, — сказал Джейк, — эта машинка мигом нас вытянет. Я и не в таких переделках бывал, — Он опустил стекло и крикнул: — Подцепите ее, ребята, а потом тащите, только поаккуратнее. Не рывком.

Не обращая на него внимания, мужчины

принялись за работу. «Не умеет Джейк с ними обращаться», — подумала я. Мне совестно было, что я оказалась в его компании, и я сползла пониже на сиденье, чтобы не видеть их, не видеть, как они прицепляют машину к трактору. Но все равно почувствовала. Я так долго пробыла в этой машине, она стала как бы моей второй кожей. Я ощущала — или мне это только казалось? — как их загрубевшие руки, ухватившись за бампер, протягивают, привязывают шершавый трос. Потом Кейд подошел к окну со стороны Джейка.

— Женщину выпустишь? — спросил он.

Джейк задумался.

— Нет.

— Будет полегче.

— У нее дверь не открывается, — сказал Джейк, — Да и вообще, подумаешь, делов-то, — Он включил зажигание.

Кейд немного отступил. Мотор трактора взвыл — высоко, жалобно. Трос натянулся. Зажужжали шины. Мы сдвинулись на фут, на два. Потом рывок, стук, и машина остановилась. Я выпрямилась, посмотрела в окно и увидела, как наш передний бампер, подпрыгивая, катится по полю.

— Вот черт! — воскликнул Джейк.

Трактор остановился, водитель спрыгнул на землю. Мужчины, почесывая в затылках, двинулись к нам. Джейк вылез из машины и пошел им навстречу. Теперь все трое чесали в затылках и, нахмурившись, смотрели на то место, где прежде был бампер.

— Эта развалина — дешевка образца 1953 года, — сказал Джейк.

Мужчины закивали, как бы запоминая каждое его слово.

— Вы только посмотрите на эти покрышки. Гладкие, как садовый шланг. — Джейк ударил по шине.

Я ощутила удар. Наступила долгая, напряженная тишина.

— Обидно! — сказал водитель трактора. — Так жалко бампер.

— Ты тут ни при чем, — сказал Джейк.

— Может, удастся подтолкнуть ее сзади. Глянька, она уже немного съехала с насыпи. Видишь? Уже не упирается носом в землю.

— Может, женщина сядет за руль, а мы втроем подтолкнем?

Джейк вернулся к машине и просунул голову в окно.

— Я не умею водить, — сказала я, прежде чем

он открыл рот.

— Но ты же знаешь, где находится акселератор?

— Нет, не знаю. И даже где тормоз — понятия не имею.

— Нет, знаешь, — сказал Джейк. Он влез в машину и снова включил зажигание. Потом показал на пол: вот акселератор, вот тормоз. — Только на тормоз не нажимай, пока не доедешь вон до той дороги, поняла? Ее отсюда не видно. Узкая проселочная дорога. Покрыта щебенкой. Мы будем толкать машину туда, а не к шоссе. По этой насыпи на шоссе не выедешь. Ну давай садись за руль.

Он вылез из машины. Я пересела на его место и взялась за руль.

— Шофер из нее аховый, — заметил Джейк. Мужчины хмыкнули. Они, кажется, нашли общий язык. Стояли и уныло смотрели на мои побелевшие от напряжения руки, застывшие на баранке.

— Смелее, барышня, — сказал Кейд. — Двигай помаленьку.

— Хорошо, — ответила я.

— Смотри, как бы не забуксовала.

Я нажала на педаль акселератора. Мужчины

навалились на багажник. Колеса завизжали, забуксовали. Медленно, толчками, машина двинулась вперед. Она набирала скорость. Оторвалась от мужчин и, подпрыгивая на ухабах и камнях, пробивала дорогу сквозь сорняки, оставляя за собой примятую желтую ленту. Я посмотрела в зеркало и увидела эту ленту и бегущих по ней мужчин. Они махали руками и что-то кричали. Но я забыла посмотреть вперёд и только потом сообразила, что узенькая проселочная дорога на мгновение возникла и снова исчезла. В панике я еще сильнее нажала на акселератор, изо всех сил рванула на себя руль, потом стала судорожно переключать скорости, одну за другой, до тех пор, пока нога случайно не наткнулась на тормоз. Шины взвизгнули. Машина остановилась как вкопанная, и я ударилась о ветровое стекло. Подбежал Джейк, я увидела его сквозь завесу разноцветных кругов, плавающих в черном воздухе. На лбу у меня вздулась шишка.

— Вот видишь, — сказал Джейк. — Кто говорил, что ты не умеешь водить?

Он влез в машину, я, словно в тумане, передвинулась на пассажирское место. Он снова включил мотор и подал машину задним ходом к проселку. Помахал своим приятелям, которые неторопливо

шли по полю. Они помахали ему в ответ. Мы приближались к шоссе.

— Умираю с голоду, — сказал Джейк. — А ты?

Я так дрожала, что не могла вымолвить ни слова.

Мы завтракали у заправочной станции «Суноко»: пакетик соленых шкварок и два кусочка торта из автомата.

Я пошла в туалет и пристально рассмотрела свое лицо в зеркале на ящике с бумажными полотенцами Надо взять себя в руки. На меня глядели темные-темные глаза, а я уж было решила, что они выцвели, стали такими же серыми, как у Джейка. Лицо показалось мне осунувшимся, растерянным. Скорее взять сумку — и назад, в машину.

Мы проезжали через сосновые рощи; мелькали фермы и новенькие, построенные из шлакоблоков магазины самообслуживания. Иногда приходилось ехать следом за каким-нибудь грузовиком или трактором, который невозможно было обогнать. Тогда Джейк начинал бормотать:

— Болван. Тупица. Дубина. Вот наподдать бы ему в зад…

— Не понимаю, — сказала я. — Не в одном же Мэриленде широкие автострады. Неужели у них

нет дороги получше? …

— Это я такие выбираю, сама знаешь почему: здесь не бывает полицейских.

Мне показалось, он напрасно так в этом уверен. Но действительно, патрульные машины пока не попадались. Только помятые «шевроле», «форды» да допотопные грузовики, которым нет износу. Когда у Джейка лопалось терпение — примерно каждые пятнадцать минут, — он останавливался у какого-нибудь магазина самообслуживания и покупал еду, например хрустящую кукурузу. Я жевала в такт хору реклам, звучащему в моей голове. А Джейк тем временем снова запускал мотор, устремлялся вперед и в конце концов оказывался в хвосте того самого грузовика, который задерживал его прежде. И случалось это всегда на подъеме, на повороте или перед встречными машинами в другом ряду.

Джейк сыпал проклятиями, я знай жевала. Хорошо, когда умеешь отключаться, надо только представить себе, будто мы находимся на огромном, гладком конвейере, медленно движущемся по сельским дорогам с рекламными щитами в двух с половиной футах от грузовика с газонокосилками.

В полдень мы остановились перекусить возле

какой-то забегаловки в предместье большого города.

— Да мы же только и делаем, что едим. Я еще не проголодалась.

— Не имеет значения. Мне надо передохнуть.

Куда ни взгляни — фабрики да кладбища автомобилей; забегаловка стояла на крохотной цементной площадке, словно обкусанной со всех сторон. Внутри — изобилие надраенного алюминия и изношенного винила в желтую крапинку. Кроме нас, единственным посетителем был подросток, жующий сосиску. Официантка походила на монашенку: лицо суровое, очки в железной оправе. Принимая у Джейка заказ, она поджала губы: все жареное, жирное, соленое. (Мало-помалу я уже начала разбираться в его вкусах.)

— Мне только кофе, — сказала я.

Официантка презрительно хмыкнула и гордо удалилась.

Когда она ушла, я протянула руку к соседнему стулу и взяла газету, помятую, небрежно сложенную, но, целую.

— Хотите посмотреть комиксы? — спросила я Джейка. На его лице появилась гримаса отвращения. Я пожала плечами. Пробежала первую страницу, потом вторую. Первичные выборы,

рост цен, трудовые договоры… О Джейке и обо мне ни слова. Про нас все забыли, будто нас вовсе и не существовало. Их уже занимали более важные дела. Я была потрясена. Но Джейка это нисколько не удивляло. Когда я отложила газету, он, даже не взглянув в мою сторону, сосредоточенно набивал карманы пакетиками с сахаром.

— Здесь о нас ни слова, — сказала я.

— Что? — Он огляделся вокруг.

— В газете о нас ни слова.

— Ну и что?

Официантка принесла заказ. Я сидела, уставясь в свой кофе и не притрагиваясь к нему. Джейк подтянул рукава куртки и придвинул к себе солонку.

— Сколько у тебя наличными? — спросил он.

— Наличными?

— Я должен знать.

— Не ваше дело.

— У тебя есть деньги, я знаю. Я видел в твоем бумажнике.

— Это мои деньги, — сказала я, — не ваши.

Обычно я не придаю значения деньгам, но сейчас — другое дело. Я оказалась предоставленной самой себе, все на свете забыли обо мне, покинули — даже те, кто должен был разыскивать

меня, а этот тип хочет отобрать у меня последние гроши. К тому же я была обижена. Как было бы хорошо, если б кто-нибудь меня угостил.

— Могли бы быть и повнимательней, — сказала я.

— Послушайте, мадам, — сказал Джейк. — Шарлотта, это путешествие — не такое уж дешевое удовольствие. Одни бензин чего стоит. Деньги у меня на исходе. Я вообще-то людей не граблю, не выношу этого. Но сейчас ты должна отдать мне свое портмоне.

Я сделала вид, будто не слышу.

— Считай, что взаймы.

— Не хочу я одалживать вам деньги.

— Не упрямься. Мне нужно позарез. Ты что, думаешь, эта мелочь, что я там хапнул, никогда не кончится?

Официантка кинула на нас взгляд через плечо. Блеснули очки.

— Ты убийца. Сидишь и режешь меня без ножа, — сказал Джейк.

Он говорил тихо, но с надрывом, того и гляди затеет скандал. Терпеть не могу скандалов. Я вынула бумажник и швырнула его на стойку.

— Давно бы так.

— Всего-навсего семь жалких долларов, — ска-

зала я. — Вы удовлетворены?

— Клянусь честью, я их верну, Шарлотта. Ей-богу.

— Как бы не так, — сказала я.

Я оперлась подбородком о кулак. Мрачно задумалась, мигая от пара, поднимавшегося над чашкой кофе. Поискала глазами сахар — металлическая вазочка была пуста.

Я чуть не заплакала.

— Здесь же нет сахара, — сказала я.

— Держи. — Джейк, вытащил из кармана пакетик.

Разорвал его и высыпал содержимое в мою чашку. Я сидела и смотрела. Потом он налил сливок, размешал пластмассовой ложечкой. — Пей.

Я успокоилась. Оставалось только поднять чашку, теплую, тяжелую, надежную. Обо всем остальном уже позаботились. Я была окружена самым пристальным вниманием.

# *Глава 8*

После помолвки мама немного успокоилась. Наверно, раздумывала, как бы удержать нас возле себя навсегда. Она стала дружелюбнее относиться к Солу. У нее появился интерес к жизни. Она захотела даже, чтобы ее повезли выбирать наряды для свадьбы. Ее сокровенное желание, сказала она, справить настоящую свадьбу в церкви. Сол сказал, что не имеет ничего против. Никто из нас не исповедовал определенной веры, но зачем подчеркивать это? Я была согласна на все. Руки и ноги налились какой-то приятной тяжестью, я стала двигаться с непривычной медлительностью. Но иногда внезапно вздрагивала, сердце начинало громко колотиться, и я спрашивала себя: «Неужто я и вправду решусь за него выйти? Доведу все до конца? В самом — деле, на что я могу рассчитывать?» Но потом я гнала от себя эти мысли. Мускулы расслаблялись, и снова я ощущала приятную тяжесть…

Теперь, фотографируя клиентов, я, так долго стояла у аппарата, что было непонятно, кого я собираюсь зафиксировать на пленке — клиентов

или себя. По вечерам я усаживалась рядом с Солом и, прижавшись к нему, слушала его рассказ про нашу будущую жизнь. Он хотел завести шестерых детей. Я же считала, что у меня их вообще не будет (каким-то непонятным образом я, как и мать, была убеждена в своей неспособности к деторождению, в необходимости взять на воспитание неродного ребенка), но все равно согласно кивала. Я представляла себе шесть темноголовых, цепляющихся за мою юбку загадочных мальчишек с носами прямыми, как у Сола. Я вдруг представила себя такой же яркой, полной жизни и тепла, как Альберта, и моя убогая, бесцветная жизнь распускалась, словно цветок. От меня требовалось только одно — подчиниться. Легко и просто. Я бездумно следовала за Солом. Соглашалась на все. Это так приятно: умиротворение, дремота, как у кошки на солнце.

Мама сказала, что в магазинах для новобрачных нет ничего подходящего, и принялась сама шить мне подвенечное платье. Из белого атласа, с воротником-стоечкой и узкими, длинными рукавами на пуговицах. Она, по-видимому, не рассчитывала, что свадьба будет летом. Близился июнь. Деньги у Сола были на исходе. А он все еще не решил, чем ему заняться. Мне же хоте-

лось заниматься одним — любовью с Солом, но это было против его убеждений. Он уже успел нагуляться, говорил он, и теперь хочет иметь дом, семью, вести размеренную жизнь. И пока не найдет работу, он на мне не женится: все должно быть чин чином. Я же предпочла бы выйти замуж немедленно, но спорить не стала. В этом своем новом состоянии я только улыбалась. С каждым днем мои руки и ноги становились все тяжелее, в глазах появился перламутровый блеск, как у человека в экстазе.

И вот однажды Сол поехал автобусом в Колорадо. Хотел повидать армейского дружка, они собирались открыть на паях какое-нибудь дело — может, мастерскую, где все будут делать сами. «Пожелай мне ни пуха ни пера!» — попросил Сол.

Он хотел справить свадьбу в июне.

Без него было просто невыносимо. Я словно пробудилась от долгого, сладкого сна и увидела все в истинном свете: я, по-прежнему бесцветная, странная, очень одинокая, прикована к матери, окружена нелепыми комнатными растениями, выше и старше меня. Каучуковые деревья и веерные пальмы — за всю мою жизнь на них не появилось ни единого нового листка. Покры-

тые плесенью сочинения классиков, запертые в застекленных книжных шкафах, пыльные конфеты в высоких вазах. И мама, которая из-за этой поездки в Колорадо опять начала тревожиться. Она волновалась, что-то бормотала и совсем забросила на манекене в столовой мой сметанный на живую нитку свадебный наряд. Неужели я вправду готова ехать так далеко, спрашивала она, а ее я возьму с собой?

Я готова была бежать куда глаза глядят. Без мамы. Я перебралась в комнату Сола. Маму это привело в ужас. В его комнате тоже царил беспорядок, по беспорядок живой; от его военного обмундирования пахло чем-то соленым и удивительным. То немногое, что сохранилось у него от дома Альберты — зеленый железный ящик для инструментов и два охотничьих ружья, — имело независимый вид. Я часами разглядывала фотографию Эдвина и четырех мальчиков перед именинным пирогом; в середине фотографии был вырезан квадрат. Я спала на жесткой, похожей на розвальни кровати, надевала махровый халат Сола, иногда залезала в его башмаки. Но проникнуть в его жизнь так и не могла. Шлепая по комнате в этих башмаках, волоча за собой длинный махровый рукав, я подходила к окну

и выглядывала на улицу, стараясь запомнить то, что он мог видеть из окна: дом Альберты, без рам, со снесенной крышей. Я открывала шкаф, чтобы вдохнуть запах его одежды, а однажды даже приложила к плечу его охотничье ружье и прижалась щекой к промасленному деревянному прикладу. Прищурясь, я смотрела в голубоватую прорезь прицела; положив палец на курок так же привычно, как на кнопку фотоаппарата, легко было представить, что вот сейчас выстрелишь в кого-то. Действие, доведенное до конца: раз уж прицелился, как удержаться и не спустить курок?

Сол отсутствовал десять дней, но вернулся ни с чем. Друг оказался не тем, за кого он его принимал. Сол не понимал, в чем загвоздка; они просто не нашли общего языка. Он решил подождать, пока не подвернется что-нибудь подходящее.

В эту ночь я надела топкую ночную рубашку и дождалась, пока мама уйдет к себе. Потом проскользнула в темноте в его пахнущую солью комнату. К жесткой кровати. К окну, в которое глядела лупа и был видел полуразвалившийся дом Альберты.

Утром он сказал, что нам, пожалуй, надо поторопиться со свадьбой.

Свадьба состоялась все-таки не в июне. Мы поженились в июле. Пресвитер согласился нас обвенчать, если мы сперва хотя бы месяц походим в молитвенный дом «Святая Святых». В этом пристанище баптистов-фанатиков Эдвин Эмори в свое время был служителем, и Сол решил, что бракосочетание должно состояться именно там. Что ж, сама я в церковь никогда по ходила, не веровала, а мама перестала посещать кларионскую методистскую церковь лет двадцать назад, когда случайно услышала там оскорбительные слова, высказанные в ее адрес. Итак, четыре воскресенья подряд мы ходили в молитвенный дом «Святая Святых» — он был обклеен толем, разрисованным под кирпич, деревянный потолок закоптился, номера гимнов нацарапаны на доске, и пресвитер Дэвитт — горбоносый, весь в черном — уныло бубнил что-то, вцепившись в кафедру так, словно от этого зависела вся его жизнь. Мы с Солом сидели перед самой кафедрой (мы хотели быть на виду). Нам даже видны были слезы на лицах людей, сидящих на Скамье Кающихся, и трепет их ресниц, когда они во время молитвы поднимали лица вверх.

— О чем они скорбят? — спросила я Сола, когда мы возвращались домой.

— О своих грехах.

— Тогда почему же эту скамью не называют Скамьей Ликующих, если именно здесь люди возрождаются?

— Да, но сначала они должны раскаяться в своих грехах.

— Я вижу, ты в этом неплохо разбираешься.

— А как же? Мне ведь тоже приходилось сидеть на этой скамье.

— Тебе?

— Ну конечно.

— И ты получил… прощение?

— Я каялся и принял водное крещение в озеро Кларион, — сказал он. — Перед тем как пошел в армию.

Я была ошеломлена. Всю оставшуюся дорогу я не сказала ни слова. Я даже по представляла, какие мы с ним разные.

Мама не стала дошивать мое платье. По-моему, каждую ночь она понемногу распарывала его. Накануне свадьбы я сказала:

— Послушай, мама, мне все равно, если даже придется идти под венец в черной кружевной комбинации. Я хочу сказать, даже если у меня не будет подвенечного платья, свадьба состоится.

Тогда она принялась за работу, шила весь

остаток дня, а потом заставила меня встать на обеденный стол и начала подкалывать подол. Я медленно поворачивалась, словно невеста на музыкальной шкатулке. А мама все говорила, говорила про бабушкин чайный сервиз, который предназначается мне, но я не слушала ее. Какая-то непонятная тоска подтачивала меня изнутри.

Потом мы пошли в студию, и я зарядила кассету. Мама сфотографировала нас с Солом. Мы стояли, уставясь в объектив, как старомодная чета.

— Где это? За что я должна потянуть? Как с этим обращаться? — спрашивала мама.

Потом я сфотографировала Сола и маму: он ее обнял.

— Не надо, я плохо получаюсь на фотографиях, — сказала она, но он возразил:

— Мама Эймс, теперь вы член моей семьи, и ваш портрет нужен мне для семейного альбома.

— Как хорошо, что ты так к ней внимателен, — сказала я потом…

— Внимателен? Какое же тут внимание? Я говорил, что думал.

И так оно и было, я видела.

Свадьба была скромная, без шаферов и без подружек. (Сол хотел, чтобы шафером был один из его братьев, но никто не смог приехать.) Он

не позволил мне пригласить Альберту, но на свадебной церемонии присутствовали мой дядя с семьей и несколько прихожан из «Святая Святых», узнавших о нашей свадьбе из общинного бюллетеня. Потом мы отправились на побережье, в Ошён-Сити, ехали на старом отцовском пикапе — Сол его отремонтировал и покрасил. Мы почти не купались. Сол целыми днями бродил по берегу у воды, а я всю неделю лежала, растянувшись на песке, и приходила в себя после долгих лет одиночества, отогревалась, излучала, счастье и погружалась в себя.

Я помню эту дату: 14 июля 1960 года. Четверг. Пять дней спустя после нашего возвращения из Ошён-Сити. Я была в студии; обрезала увеличенные фотографии. Мама вязала на кушетке. Сол вошел в комнату с конвертом в руках и сказал, что хочет со мной поговорить.

— Пожалуйста, — сказала я.

Мне сразу сделалось не по себе.

Следом за ним я поднялась по лестнице в его комнату. Теперь это была наша комната. Я села на кровать. Сол стал ходить взад и вперед, ударяя конвертом по ладони.

— Послушай, что я хочу тебе сообщить, — начал он.

Я глотнула воздуха и выпрямилась.

— Все это время я размышлял, почему все складывается именно так. Почему я встретил тебя именно в этот момент моей жизни. В армии я, конечно, думал, что, окончив службу, непременно женюсь и заведу семью. Но сперва надо было найти заработок. И в тот день, когда ты открыла мне дверь, помнишь, в этом своем выцветшем тонком свитерочке, я подумал: «Почему именно теперь? Ведь у меня нет возможности содержать ее, и я не могу предложить ей ничего определенного. Неужели нельзя было повременить?» Потому старался убедить себя отказаться от тебя. Но это было выше моих сил. И вот теперь, Шарлотта, я наконец понял. Я знаю, почему все так сложилось.

Он остановился, посмотрел на меня с улыбкой, Я была озадачена как никогда.

— В самом деле? — сказала я.

— Шарлотта, мое призвание — быть проповедником.

— Кем?

— Разве ты не расслышала? Проповедником. Не встреть я тебя, я никогда бы не возвратился в молитвенный дом, никогда не понял бы, что мне положено делать. А теперь все ясно.

Ну и ну! Я была настолько ошеломлена, что не могла даже перевести дух. Это было так неожиданно, ничто в его поведении не настораживало меня.

— Но… Но, Сол… — сказала я.

— Послушай, я расскажу тебе, как это случилось, — перебил он. — Помнишь то воскресенье, когда я помогал наковать молитвенники? Я нес ящик в подвал. Прошел мимо игровой комнаты, куда меня приводили еще ребенком. Все тот же синий линолеум на полу, все те же трубы, на которые нам запрещали влезать. И вдруг я услышал тот самый псалом, который мы с братьями пели в детстве: «Любовь возвысит меня». Клянусь честью. Представляешь? Я услышал наши собственные голоса, я не мог их спутать ни с чем. Я замер с открытым ртом. Слышал даже, как шепелявит Джулиан, у него тогда выпали молочные зубы; потом, когда выросли новые, это прошло. Мы пропели две строки, а на третьей наши голоса стали затихать, но я все еще слышал их издалека.

— Постой, постой, — сказала я. — Вы вчетвером, все вместе? В игровой комнате при молитвенном доме? Это невероятно. Слишком у вас большая разница в возрасте.

— Здесь не может быть никакой логики.

— Логика здесь действительно отсутствует.

— Пресвитер Дэвитт говорит, что это знамение.

Мне не понравилось, как он произнес эти слова. В нем появилось что-то от проповедника; осадка, его голос, безмятежно спокойный взгляд. Почему раньше я этого не замечала? Да потому, что слишком много внимания обращала на другие стороны его натуры.

И ничто меня не настораживало.

Но я не сдавалась.

— Послушай, Сол, может, это слуховые ассоциации прошлого или что-нибудь в этом роде? Тебе не приходило в голову?

— Пресвитер Дэвитт сказал, это было знамение — я должен стать проповедником. Мы с ним уже не раз об этом беседовали.

Я смотрела, как его длинные смуглые пальцы раскрывают конверт, и легко было представить, как они переворачивают страницы Библии. Я не верю в бога, но в ту минуту, кажется, готова была поверить: кто же еще мог сыграть со мной такую шутку? Молитвенный дом был наиболее замкнутым пространством, еще более замкнутым, чем наш дом. Самым странным человеком, еще бо-

лее странным, чем моя мать, был фанатичный проповедник.

Я едва удержалась от смеха. Со спокойным, сдержанным любопытством посмотрела на лист бумаги, который он вытащил из конверта.

— Пришло сегодня по почте. Не хотел говорить тебе об этом заранее, пока не получу извещения, что принят в Хамденский баптистский колледж.

— В баптистский колледж, — повторила я.

— Понимаю, на это потребуются средства. Армия не захочет платить за обучение в официально не зарегистрированном колледже. Но сколько преимуществ: учиться всего два года, езды до колледжа — не более получаса. Можно будет жить здесь, вместе с твоей матерью! Я снова открою отцовскую радиомастерскую. Это даст средства на оплату обучения. Мне суждено остаться в Кларионе, Шарлотта. Это моя судьба. Как ты не понимаешь?

Все, что я могла видеть из нашего окна, — остов дома Альберты, оклеенные цветастыми обоям стены, вздымающиеся к небу медные трубы и раскрытую пустую аптечку. Весь мир рушится, это ясно: на земле не остается ничего, кроме дома моей матери. Меня заточили сюда навечно, здесь пройдут долгие, монотонные дни моей жизни.

# *Глава 9*

Остаток, дня, проведенный в пути, тянулся бесконечно, все вокруг казалось поблекшим. Покосившиеся сараи, некрашеные дома, тощие коровы, уныло выглядывающие из-за оград.

— Где мы находимся? — наконец спросила я.

— В Джорджии, — ответил Джейк.

— В Джорджии?! — Я выпрямилась и огляделась по сторонам. Вот уж не думала, что попаду в Джорджию. Но ничего интересного вокруг по-прежнему не было. — Знаете что, пожалуй, я пересяду назад и немного вздремну.

— Нет, — сказал Джейк.

— Почему?

— Хочешь оставить меня в дураках. Откроешь дверцу — только тебя и видели.

— Господи боже мой, — вздохнула я. Это было просто оскорбительно. — С какой стати я стану это делать? Просто хочу вздремнуть. Заприте дверь, если вам хочется.

— Это невозможно.

— Достаньте где-нибудь еще одну цепь.

— Может, прикажешь мне запереть и себя?

— Держите ключ при себе. Найдите еще одну из этих...

— Отстань, Шарлотта.

Я немного помолчала, разглядывая рекламу нюхательного табака. А потом сказала:

— По-моему, вам пора избавиться от этой мании с замками.

— Я же сказал — отстань.

Я огляделась. Где тут радиоприемник? Приемника в машине не было. Я заглянула в отделение для мелких предметов — интересно, что там? Дорожные карты, электрический фонарик, сигареты и прочее барахло. Я захлопнула крышку.

— Джейк.

— Что?

— Куда же мы все-таки едем?

Он посмотрел на меня:

— Наконец-то. А я уж-было решил: у тебя не все дома.

— Не все дома?

— Шариков не хватает. Не поинтересоваться до сих пор, куда мы едем!

— Мне и в голову не приходило, что мы едем в какое-то определенное место.

— Значит, ты решила, что я тащусь в такую даль просто из любви к искусству?

— Куда же мы едем Джейк?

— Понимаешь мать увезла его во Флориду, подальше от греха. Открыла там мотель. Она вдова. Терпеть меня не может, вот и увезла Оливера подальше. Мы его навестим, но сначала завернем в Линекс, штат Джорджия.

— А в Линекс зачем? — спросила я.

Он стал шарить по карманам, сначала в куртке, потом в карманах брюк. Наконец вытащил вырванную из блокнота страничку и протянул мне.

— Что это? — спросила я.

— Читай.

Я развернула и расправила листок. Он был исписан жестким карандашом, оставившим след на, оборотной стороне. Над каждой буквой **«i»** вместо точки было, нарисовано весьма внушительных размеров сердечко.

«Дорогой Джейк!

Милый, приезжай за мной поскорее. Я здесь как в тюрьме. Я так давно, жду тебя. Неужели ты не получил мое письмо? Я звонила тебе домой, но твоя мать сказала, что не знает, где ты. Неужели ты хочешь, чтобы твой сын родился в тюрьме?

*Целую и люблю тебя,*

***Минди».***

Я дважды перечитала это письмо. Потом посмотрела на Джейка.

— Я бы не вынес этого, — сказал он.

— Чего «этого»?

— Чтобы мой сын родился в тюрьме.

— За что же ее посадили?

— Да это не тюрьма, она в приюте для незамужних матерей.

— Вот оно что!

— Ее мать — ведьма, настоящая ведьма. Отправила девчонку в этот приют и постаралась, чтобы я ничего не знал, пока не упекла ее туда… Она еще слишком молода, чтобы иметь свое мнение. Всего семнадцать лет. Но по-моему, они все равно должны были дать ей возможность решить, что делать, и мне тоже. Мы с ней встречаемся уже целых три года, с перерывами.

— Постойте, — сказала я. — Три года?

— Ей было четырнадцать, — сказал Джейк. — Но и тогда все было при ней.

— Никогда в жизни не слышала ничего подобного.

— Ну и что с того, мисс Ханжа? Я-то тут при чем? Просто она втрескалась в меня по уши. Вцепилась мертвой хваткой. Понимаешь, в то

время они жили недалеко от нас, от меня и моей матери, на Четвертом шоссе, на окраине Клариона, возле Пимса-Ривер. Знаешь где это? Сначала мы просто здоровались — шапочное знакомство. Но вот однажды они всем семейством явились на автородео. В тот раз я участвовал и выиграл. Наверно, потому и стал ее героем. После этого она начала бегать за мной, звонить, таскать для меня завтраки, пиво. Крала все это у отца. Ее отец — Дарнелл Кэллендер, хозяин бакалейной лавки, может, знаешь? Вечно ходит в канотье. Так вот, вначале я подумал: у нее еще молоко на губах не обсохло, да и не больно она мне нравилась, но отделаться от нее было не так-то просто. Прилипла как банный лист, а прогонишь — не обижается, только улыбается, и мне делается не по себе. Понимаешь, совсем ведь еще сопля. Было лето, и она ходила в босоножках из тонких-тонких ремешков, того гляди развалятся. И тогда я подумал: ну, уж если ей так приспичило… Но наша связь была непостоянной, — продолжал он. — Я и с другими девчонками путался. Бывало, спрашиваю себя: и чего я связался с этой Минди, какого черта? Трещит без умолку, а слушать нечего. Иногда такая с ней скучища, уши вянут. А то вдруг скажет что-нибудь этакое, в самую точку;

выходит, она все время наблюдала за мной, знала как облупленного, понимаешь? И наконец до меня дошло: моя судьба связана с этой девчонкой. Это, конечно, была не любовь, только вот что же? Похуже любви, такое трудно разорвать. Будто нам предстояло испытать друг друга до конца, чтобы из этого получилось что-нибудь стоящее, кто его знает. Она до ручки меня доводила, вот ей-ей. «Повесил себе камень на шею, — думал я. — С какой стати ты должен это терпеть?» И тогда мы разбегались в разные стороны. Но она, как всегда, только улыбалась. А потом появлялась опять, и опять, и опять, и все начиналось сначала. Ясно?

Я кивнула. Представить себе все это было нетрудно, но я никак не думала, что такое происходило с Джейком.

— Так вот, прошлой осенью звонит она мне по телефону. И говорит, ожидает прибавления. Брехня: мы в то время и не встречались. С августа я близко к ней не подходил. Я вообще-то старался к ней не лезть, но сама знаешь, как иногда бывает. Тут и от нее кой-что зависит. Еще как зависит. Я ведь не каменный… И вот, пожалуйста… Что мне было делать? Все вышло так неожиданно. Если бы она хоть написала, дала мне время подумать. Так нет, приспичило звонить. «У нас будет ребе-

нок, Джейк». Гордая, как королева. И говорит: «Я думаю, нам надо пожениться».

Я просто обалдел. Будь у меня время подумать, я бы сказал: «Успокойся, Минди, как-нибудь все уладим». Но она застигла меня врасплох. И я сказал: «Ты что, рехнулась? У тебя что, шарики не работают? Думаешь, я и в самом деле женюсь, надену на себя этот хомут? Женюсь, да еще на тебе?!» И бросил трубку. Себя не помнил от злости! Но, конечно, я был не прав, надо было держать себя в руках.

— Просто вы были потрясены, — сказала я. Я не собиралась его оправдывать. Но меня тронуло напряженное отчаяние, с которым его руки сжимали баранку. Больно было смотреть на эти обкусанные ногти. — Я бы ответила точно так же.

— И вот, — продолжал Джейк, — проходит неделя, другая, месяц, два — и я начинаю задумываться. Мы не виделись с ней все это время, и я начинаю замечать ее отсутствие, вспоминаю то одно, то другое. Яркие косынки, которые она носила. И как вечно просила, чтоб я фокусы показывал, и аплодировала. Совсем ребенок, понимаешь? Вечно что-то мурлычет, вечно вприпрыжку, размахивает моей рукой, когда мы

гуляем.: Потом я стал задумываться, как же это она сейчас живет с матерью — мать-то у нее ведьма, они никогда не жили дружно. Ну и решил: надо уж, во всяком случае, как-то помочь ей в такой момент. Конечно, я тут ни при чем, но не хотелось считать себя хоть в чем-то виноватым. Не подлец же я какой-нибудь. Верно?

— Конечно, — сказала я.

— И вот я позвонил ей домой. А мамаша ее говорит: «Ты опоздал, Джейк Симмс». Целых три недели разыскивал ее. Пришлось обратиться к ее кузену Коббу. Потом я ей написал письмо. Хотел узнать, все ли у нее в порядке, не нужно ли чего. И тогда она ответила: «Мне нужно одно — вырваться отсюда. Ради бога, приезжай за мной!»

Что ж, это можно. А вот куда потом ее девать? Будь она постарше, у нее могла найтись какая-нибудь замужняя подруга или еще кто, у кого можно пожить. Только у нее вряд ли есть такие. Вот я и решил отвезти ее во Флориду и разыскать там Оливера. Мы с ним переписывались. Он присылал мне на рождество поздравительные открытки. Я всегда вспоминал о нем и как он читал книги, даже когда сидел под замком. Думаю, Минди может остаться во Флориде, пока не родит. А потом отдадим ребенка на усыновление.

Вряд ли она будет такая уж сумасшедшая мать. И она сможет вернуться домой, а я останусь во Флориде. Там часто устраивают настоящие автородео. Может, мы с Оливером могли бы жить вместе, как прежде.

Но, чтобы добраться до Флориды, нужны деньги, так? А у меня их кот наплакал. Я тогда был без работы. Из автомастерской меня уволили ни за что. Сезон автородео кончился, да и все равно в тот раз мне не больно везло. Только и оставалось — слоняться по дому, валяться в постели до полудня, шарить в холодильнике и смотреть телевизор. Всякие там рекламные мелодрамы. Викторины. Победители получают по тысяче коробок кошачьей еды или кровать в форме сердца и прочее барахло. Сидишь и думаешь как дурак: интересно, где можно раздобыть простыни для такой кровати? Я из тех, кто тратит все до последнего цента, у меня не осталось ни гроша, жратвы купить и то не на что. Тяжелые были времена.

Друзья?… Раньше можно было перехватить у них хоть немного деньжат, но в последнее время они все как один переженились. Даже самые нормальные, самые лучшие мои друзья взяли и обженились. С ума сойдешь! Бросили меня одного на произвол судьбы. Сама знаешь, откуда у же-

натого человека деньги, чтобы одолжить другу? Только и делов — копят на всякие электрические приборы и прочую дрянь. Дохлое дело.

Я тогда сделал вот что. Отправился к мужу своей сестры, Марвелу Ходжу. Он торгует «шевроле». Ты наверняка слышала о нем. Каждый вечер, когда по телевизору передают последнюю эстрадную программу, на самом интересном месте, она прерывается, и на экране появляется Марвел — широкоскулый, модная стрижка, идиотская улыбка — и похлопывает по крылу своего «шевроле». Хоть убей не пойму, как моя сестра могла выйти замуж за этого типа. Терпеть его не могу.

Но, хочешь не хочешь, пришлось обратиться к нему. Я отправился туда на старом «форде» моей матери. (Думаешь, он когда-нибудь дарил ей «шевроле»? Ни черта подобного.) Я застал его на площадке для машин, он шутил с какими-то клиентами в этой своей идиотской манере — три «ха-ха». «Марвел, — говорю, — можно тебя, на минутку? На несколько слов». А он мне: «В чем дело, Джейк? Выкладывай». Во все горло, перед всеми этими клиентами, такой это человек. «Марвел, — сказал я, — хоть мы с тобой в какой-то степени и родственники, но не такой я идиот, чтоб просить у тебя денег в подарок или взаймы.

Я на мели, но клянчить у тебя я не стану, мне нужна работа, только и всего, чтобы кое-как продержаться, — сказал я. — Ты прекрасно знаешь, в автомобилях я разбираюсь лучше любого из трех твоих помощников. Ну так как?» Знаешь, что он сделал? Расхохотался. Хохочет и мотает башкой. Перед всеми этими клиентами — целая семья: муж с женой, две девочки и еще какой-то тип, дядька их, что ли. «Ну и ну, — говорит, — Уморил! Работа тебе нужна, говоришь? Дать работу Джейку Симмсу, который с самых пеленок не вылезает из неприятностей! Нашел дурака».

Я сдерживал себя, честно. «Марвел, — говорю, — может, в молодости я иногда и поступал легкомысленно, но зря ты меня теперь попрекаешь. Я повзрослел, и самое большое, что могу теперь себе позволить, — опрокинуть стаканчик-другой в субботний вечер. Прошу, тебя, возьми свои слова назад». «Повзрослел? — говорит Марвел. — Повзрослел? Доживу ли я до того дня, когда ты станешь человеком? Проваливай, парень. Оставь меня с этими достойными людьми».

Ну, я все еще сдерживался. Молча пошел к своему «форду», чувствую, могу взорваться в любую минуту, но не сказал ни слова. Сел в машину, за-

вел мотор, поправил зеркало, чтобы дать задний ход. Но вместо этого почему-то рванул вперед. Уж не знаю, как это получалось. По правде говоря, была у меня такая мысль, но я не представлял, что сделаю это. На полном ходу я пронесся вдоль площадки — Марвел бросился влево, клиенты вправо, я стукнул новый «бэл-эйр», смял у него правое крыло. Потом дал задний ход и врезался в «вегу». И рванул дальше, разбивая все на своем пути. Крылья сминались, как листы бумаги, летели бамперы, дверцы… И всякий раз, как я врезался во что-нибудь, они метались и орали, а я был счастлив. Моя машина, конечно, тоже пострадала, но меньше, чем я думал. Можно было бы даже добраться на ней до дому, по тут мне взбрело в голову долбануть «монзу», прямо в капот. На гонках так не делают, это считается нарушением правил, по я не мог устоять, врезался в две машины сразу, они взлетели в воздух, как ракеты 4 июля[2], а сам дал задний ход и, как на грех, на выезде угодил прямо в лапы трех полисменов.

Я рассмеялась. Джейк с удивлением посмотрел на меня, словно забыл, что я здесь.

---

**[2] Примечания: 2**

День подписания Декларации независимости, национальный праздник США.

— А потом все набросились на меня, — сказал он, — все, даже мама, стали допытываться, как же это я не сдержался. А я все повторял, что сдержался, я же мог сделать котлету из Марвела и его клиентов, но я сдержался!

В тюрьме я тоже держал себя в руках, старался изо всех сил не удрать, понимаешь, я решил стать разумным. Сидел спокойно и ждал суда. Никто из знакомых не захотел взять меня на поруки, а у мамы — ни гроша. Пришлось сидеть. Нелегко это было. То меня вдруг в пот бросало, то тело покрывалось сыпью, но я старался держать себя в руках и не удирать оттуда.

Защитник, которого мне дали, сказал, что я должен признать себя виновным. Дескать, моя вина бесспорна. Ну, а я сказал, такое признание было бы ложью. Меня принудили к этому, у меня не было выбора, Марвел Ходж просто меня довел, и это называется виновен? Нет, сэр, я ни в чем не виновен. Мы долго спорили. Время шло. И с каждым днем мое терпение истощалось. Но я все еще старался сдерживаться, все еще старался.

За день до суда мама принесла мне это письмо. Никто, кроме нее, меня не посещал. Моя сестра Салли не желала иметь со мной ничего общего. Ну и Марвел, конечно, тоже не приходил. А приди

он, я бы его укокошил. Вырвался бы из камеры и укокошил.

Мама принесла мне вот это самое письмо от Минди. Она отправила его по домашнему адресу. Не знала, видно, что со мной приключилось. Ее мать или ничего не слыхала, или просто не сказала ей, хотя не представляю, чтоб она упустила такую возможность. И вот я получаю это письмо с вопросом, хочу ли я, чтобы мой сын родился в тюрьме. Это, скажу тебе, меня совсем доконало. Я прямо взбесился. Откуда ж на свете столько способов унизить человека? Ничто уже не могло меня удержать — что ж мне, сидеть и ждать, чтоб так и случилось?

На другое утро за мной пришли и повели в суд; по дороге, на Харп-стрит, я вырвался и дал ходу и пистолет у охранника прихватил. Это было проще простого. Когда ведут в суд, охраняют не так строго. Думают, ты занят мыслями о будущем, надеешься, что тебя оправдают. Но меня не проведешь. У меня никакой надежды не было. На мне поставили крест. Конченый, мол, человек. Все так считали. Единственный выход — бежать.

…Как же я умудрился так оплошать? Думал, унесу из этого банка хотя бы тысчонку. Думал, получу свободу, независимость. А вышло-то вон

как. Все наперекосяк. Что ни шаг, то глупость, всю дорогу одна только глупость. Что ни делал, получалось одно хуже другого.

— Вам просто не повезло, — сказала я. — Обойдется.

— Подумать только, ведь я все это затеял, просто чтоб доказать, что я не плохой человек вот ведь смех, а?

К вечеру мы приехали в Линекс, который оказался одной широченной пустынной улицей. Мы остановились возле бакалейного магазина, чтобы позвонить по телефону-автомату.

— Приют Доротеи Уитмен, — сказал Джейк. Он перелистывал городскую телефонную книгу толщиной с — небольшую брошюру. Его корявый палец скользил по столбцам номеров. Дверь телефонной будки осталась открытой, я смотрела поверх его плеча и видела одних только желтых бабочек, мелькавших в желтом воздухе. Мы проделали огромный путь, оставили позади холодную, капризную мэрилендскую весну и попали в настоящую теплынь.

— Посмотрите, — сказала я. Джейк резко обернулся. — Бабочки.

— Отстань!

Я сняла плащ, он расстегнул молнию на своей

куртке. И оказалось, оба мы в белых рубашках. В застекленной кабине под лучами заходящего солнца лица у нас покрылись блестящими капельками влаги, как растения в оранжерее.

— В Кларионе, наверно, снег идет, — сказала я.

— Навряд ли, — ответил Джейк. Его палец нашел наконец нужный номер и остановился. — Вот. Приют Доротеи Уитмен. Я наберу, а говорить будешь ты:

— Это еще почему?

— С мужчиной ее соединять не станут…

— А по-моему, соединят.

— К чему рисковать? Попроси Минди Каллендер.

Скажи, говорит ее тетка или кто-нибудь в этом роде.

Он опустил десятицентовую монету и набрал номер. Я прижала трубку к уху.

— Приют Уитмен, — ответил женский голос.

— Попросите, пожалуйста, Минди Каллендер.

— В трубке что-то переключилось. После короткой паузы раздался тонкий голосок:

— Алло!

— Алло, Минди?

— Кто это?

Я передала трубку Джейку.

— Привет! — сказал он и осклабился. — Да, да. Я. Прибыл. Да нет, это было просто… Со мной все в порядке. Как ты? — Он долго слушал ее. Лицо его опять посерьезнело. — Вот досада. Правда? Очень жаль… Послушай, Минди… Здесь кто-нибудь интересовался мной? Тебя не спрашивали, где я нахожусь? Точно? Нет, никаких неприятностей, прекрати. Скажи лучше, куда за тобой приехать?

Я прижалась спиной к стеклянной степе будки, пытаясь освободить побольше места. Пальцы Джейка забарабанили по телефонной книге, потом остановились.

— Почему нет? — спросил он, — Ведь еще не темно. Послушай, Минди, нам нельзя здесь задерживаться. Мы… Что? Да нет. Откуда у меня может быть лестница? — Некоторое время он молча слушал, потом сказал: — Ну ладно. Первая слева, после… Конечно, понял. Не такой уж я идиот. Ну, до скорого! — Он повесил трубку и запустил руку в волосы, — Вот черт!

— Что случилось?

— Сначала она сказала, что занята сегодня днем, ей не выйти, и чтобы я явился за ней в полночь с лестницей. Представляешь, с лестницей! Иногда эта Минди бывает такая… А когда я сказал «нет», она сказала, может, выйдет ко мне завтра

в шесть утра. Может, выйдет, а может, нет. Что еще за фокусы?

— Думаю, лестница — это довольно… рискованно, — заметила я.

— Ты не знаешь Минди. Она такое обожает, — сказал он, — Удивительно, как это она не требует, чтобы я прискакал за ней на коне.

Мы вышли из будки и зашли в бакалейный магазин. Джейк купил бритву, крем для бритья, огромную бутылку кока-колы и пачку печенья «Доритос». Я увидела там холодильный шкаф, набитый банками с апельсиновым соком. Так хотелось купить несколько банок, но Джейк сказал, что с ними много возни: сок надо разбавлять. Он был очень раздражен. Ходил между полок и что-то бормотал себе под нос, подгоняя меня всякий раз, когда я задерживалась…

— Пошли, пошли. Мы ведь не собираемся здесь ночевать.

— Насколько я понимаю, именно здесь мы и собираемся ночевать, — возразила я.

— Не время шутки шутить, — отрезал Джейк.

Мы вышли из магазина и поехали дальше, через весь город. Теперь, когда зашло солнце, он стал серебристым. Мы ехали долго, я уж решила, мы уезжаем и оставляем здесь Минди. Это было

бы неплохо, подумала я. (Пусть даже кто-то другой бросает любимого человека, все равно, это доставляло мне злорадное удовлетворение). Но Джейк притормозил и посмотрел на лес справа:
— Пожалуй, здесь и остановимся.

На коричневом деревянном щите были вырезаны большие буквы: КЕМПИНГ «ТАНЗАКВИТ». Мы свернули на грязную дорогу и, подпрыгивая на ухабах, им, ехали мимо пустой доски ИЩУ РАБОТУ и несколько мусорных баков. Потом дорога кончилась. Джейк остановил машину и откинулся назад.

— Прибыли, — сказала я.

— Именно, — ответил он.

Он опустил стекло. В лесу уже смеркалось, и пахнущая грибами прохлада ударила нам в лицо, словно кто-то бросил в нас влажными листьями. Он снова поднял стекло.

— Я думал, у них тут хоть столы есть.

— Может, проедем еще немного?

— Нет, хватит.

Я поплотнее запахнула плащ, а Джейк по-прежнему сидел, постукивая пальцами по баранке. Наконец я открыла бумажный пакет, вынула оттуда пачку «Доритос», распечатала и предложила ему.

Он отрицательно покачал головой. Я достала из банки несколько «Доритос» и съела их одну за другой.

— Вкусно, — сказала я. — Попробуйте.

— Не хочу.

— С апельсиновым соком было бы еще вкуснее.

— Как здесь, в лесу, его разбавлять? И потом, надо — экономить. Мы на мели.

— Раз вы так беспокоитесь о деньгах, зачем же было покупать эту бритву? — спросила я. — По-моему, апельсиновый сок куда лучше.

— А по-моему, лучше побриться, — сказал Джейк. Выпрямился и посмотрел на себя в зеркало. — Рожа смертника. — Он откинулся назад. — Увидит такую рожу — и сбежит на край света. Не могу без бритья.

— А я не могу без фруктов, — сказала я. — Так хочется фруктов, как будто у меня начинается цинга.

— Замолчи. Хватит размусоливать одно и то же.

Я замолчала. Съела еще несколько «Доритос» и посмотрела на лес.

Привыкнув к этой пустынной поляне — коричневая, усыпанная хвоей земля, мягкие, размытые

сумерками тона, — я подумала, что не так уж здесь плохо. Но Джейк продолжал суетиться. Полез в бумажный пакет с продуктами. Достал несколько «Доритос», вынул бутылку кока-колы и откупорил — нас обдало теплыми брызгами.

— Ой, извини, — сказал, он.

— Ничего.

— Выпей немного.

— Нет, спасибо.

— Если хочешь, можешь спать сегодня на заднем сиденье. Я все равно не засну. Так и буду сидеть всю ночь напролет и психовать.

— Ладно.

— Не понимаю, как ты, только можешь вытерпеть, все это? — сказал он.

— Не забудьте, я была замужем.

Мы сидели в машине, грызли «Доритос» и смотрели, как деревья становятся все выше и чернее.

# *Глава 10*

Впервые я ушла от мужа в 1960 году, после ссоры из-за мебели. То была мебель Альберты: он продал ее дом, а мебель почему-то решил сохранить. Не прошло и месяца нашей супружеской жизни, как он нанял грузовик и перевез все к нам: старые спальные гарнитуры, стол с линолеумовым верхом, обшарпанные стулья, пёстрые занавеси, шали, платья… Добавьте к этому пожитки ее свекра, реквизит и театральные костюмы, которые старик держал в столовой. Сначала я подумала, Сол решил устроить распродажу. Платить за хранение всех этих вещей мы не могли. Это ясно. Но оказалось, он и не собирался их продавать. Оставил себе все до последней тряпки. Наш дом и без того был забит мебелью, а он взял и удвоил каждый предмет: к одному журнальному столику приставил другой, к спинке одного дивана — второй диван. Безумие какое-то. У каждого предмета появилась тень, свой сиамские близнец. Мама не находила в этом ничего странного (теперь она обожала Сола, считала, что он не способен ошибаться), не могу сказать этого о себе. Он даже

не распечатывал письма Альберты, зачем же ему понадобилась ее мебель? Сама я постоянно думала об Альберте, дорожила каждой ее мелочью, но эти-то вещи были ей не нужны. Если она сама их выбросила, я тем более могла от них отказаться.

— Сол, — сказала я. — Надо избавиться от этого барахла. Здесь невозможно двигаться, нечем дышать. Надо все это выбросить.

— Со временем разберемся, что к чему, — сказал он.

Я поверила. И продолжала спотыкаться о ящики с атласными туфельками и сапогами для верховой езды, больно ударялась о бесчисленные ножки стульев и все ждала, когда же он что-нибудь предпримет.

Но он поступил в баптистский колледж и погрузился в учебу. Ночами готовил задания, а каждую свободную минуту проводил в радиомастерской. Про мебель он и думать забыл, это было ясно.

И вот в октябре я решила самостоятельно избавиться от нее. Признаюсь, я делала это за спиной, так, чтобы было незаметно: тайком выносила одну вещь за другой и оставляла возле мусорного ящика. Мусорщик приезжал к нашему дому на грузовике по средам и субботам. В среду я выставила ночной столик, а в субботу — книжный

шкаф. Выбрасывать сразу больше одной вещи я не решалась: в городе существовал лимит по вывозу на свалку громоздких предметов. У меня лопалось терпение. Ночами я глаз не смыкала, обдумывая, какую вещь вывести из дому в следующий раз. Выбрать было очень трудно. Комод? Или журнальный столик? — А может, кухонные стулья? Но их восемь штук, и как это нудно — выносить по одному, неделя за неделей. А может, диван — самую громоздкую вещь в доме? Но это Сол, конечно, тотчас заметит, как не заметить?

Теперь Сол относился ко мне тепло, но отрешенно — не такого отношения ждешь от мужа. Он сразу же определил мне место в своей жизни и занялся другими делами. Я была как забытая игрушка, которую ребенок рассеянно тянет за собой на веревке. Как это случилось, что между нами уже установились такие же неясные, запутанные, нелепые отношения, какие существовали у меня со всеми другими людьми?

На все наше имущество я смотрела теперь только с одной точки зрения: как оно будет выглядеть возле мусорного ящика? Не только на вещи Альберты, но и на мамины, и на свои собственные. В самом деле, зачем писать на письменных столах, ходить по коврам? Во время обеда я вдруг

застывала, уставившись на горку с чашками для компота. Господи, да ведь их можно упрятать внутрь мусорного ящика и в тот же день выбросить что-нибудь еще! А папин «графлекс», которым я никогда не пользовалась, а моя детская одежда, хранящаяся в железном сундучке, а ящички, забитые фотографиями для паспортов давно умерших людей? Зачем мне все это?

В среду утром решение было принято: на сей раз это был комод Альберты. Я дождалась, когда Сол ушел в радиомастерскую, и снесла вниз по лестнице сначала ящики, один за другим, а потом и остов. Тащить остов было трудно, он гремел по ступенькам.

— Это ты, Шарлотта? — окликнула мама из кухни.

Пришлось остановиться, поставить остов на ступеньку, перевести дух.

— Да, мама.

— Что там происходит?

— Ничего, мама.

Я вынесла комод через парадную дверь, чтобы она не увидела, протащила вокруг дома, засунула в него ящики и оставила возле мусорного бака. Потом пошла на продуктами и в фотомагазин за бумагой.

Домой я вернулась только в полдень. Вошла в прихожую, положила покупки и вижу: стоит комод Альберты.

Это было все равно что столкнуться лицом к лицу с покойником, которого только что похоронили. Я перепугалась не на шутку. При виде Сола, стоящего позади со скрещенными на груди руками, мне легче не стало.

— В чем дело? Как он оказался здесь?

— Я нашел его возле мусорного бака.

— Да что ты?

— К счастью, сегодня День Колумба[3], и его не увезли.

— Ах да, День Колумба! — сказала я.

— Сколько вещей ты уже успела выбросить?

— Пожалуй…

— Это не твои вещи, и не тебе ими распоряжаться, Шарлотта. С чего это ты вдруг решила их выбрасывать?

— Есть наконец у меня хоть какое-то право решать, что должно быть в этом доме? Когда я пытаюсь заговаривать об этом с тобой, ты лишком занят. Тебя же нельзя тревожить мирскими заботами.

---

**[3] Примечания: 3**

Праздник, посвященный открытию Америки отмечается 12 октября.

— Но я работаю, — сказал Сол. — Засыпаю по ночам над книгами. Не могу же я все бросить и сию секунду заняться перестановкой мебели.

— Сию же секунду! Я просила тебя об этом еще в августе. А ты все ждешь подходящего момента. Ходишь, бормочешь что-то из Священного писания, репетируешь рукопожатия или еще что-нибудь, откуда мне знать, чем вы там занимаетесь…

— Конечно, откуда тебе знать, ты же отказалась идти в Хамден на открытие колледжа, где все это объясняли.

— Ненавижу Хамден, — сказала я. — Ненавижу всю эту затею. Я бы заставила тебя отказаться от нее, если бы знала, что вправе вмешиваться в жизнь другого человека, изменять его.

— Не понимаю тебя.

— Знаю, что не понимаешь. Проповедники не ставят перед собой таких, вопросов, в том-то и беда.

— Каких вопросов? О чем ты говоришь? Прошу тебя об одном: не трогай мои вещи, оставь их в покое. Я займусь ими когда-нибудь потом.

— Даже если из-за них я сломаю шею?

Он устало провел рукой по лбу.

— Никогда не думал, что ты такая, Шарлотта.

Это моя мебель, и, что с ней делать, я решу сам. А теперь мне пора идти, я опаздываю на занятия. До свидания!

Он вышел, с нарочитой осторожностью прикрыв за собой дверь. Было слышно, как он заводит пикап. Я собрала покупки, отнесла на кухню; там, застыв на своем стуле, сидела мама.

В последнее время она как-то осела, стала обыкновенной рыхлой толстухой, но сидеть теперь могла на чем угодно и только в самые напряженные моменты, предпочитала свой деревянный стул. На лице ее застыло прежнее выражение испуга, побелевшими пальцами она вцепилась в потрескавшиеся подлокотники.

— Ничего страшного, мама. Все в порядке, — сказала я.

— Ты так плохо обращаешься с ним, а он такой порядочный, вежливый.

Меня она никогда так не любила, как Сола.

— Но я должна защитить себя, мама.

— Ты же не собираешься его прогнать?

— Прогнать? — переспросила я.

Именно этого мне и хотелось. Я представила, будто с палкой в руках бегу за ним, как женщина на коробке со стиральным порошком «Олд-датч»: «Вон! Вон! Хочу чистого воздуха!» Если бы мне

удалось от него отделаться, чувство безнадежности и беспомощности рассеялось бы как туман. Я не видела бы его осуждающих глаз, замечавших все мои недостатки и промахи, избавилась бы, от его добропорядочного, вежливого присутствия, постоянно в чем-то изобличавшего меня. Но маме я, конечно, этого не сказала. Положила на кухонный стол покупки, поцеловала ее в щеку и, помахивая сумкой, вышла из кухни. Я прошла через весь город, зашла в закусочную Либби, заказала билет на автобус до Нью-Йорка.

То был, пожалуй, самый светлый, самый счастливый час в моей жизни.

Но не забудьте, случилось это в 1960 году, когда Кларион еще оставался сонным маленьким городком и междугородные автобусы останавливались там очень редко.

— На какой день вам нужен билет? — спросила Либби. (В 1960 году одна из представительниц этого, семейства еще была жива).

— На какой день? — переспросила я.

— Междугородные автобусы останавливаются у нас по понедельникам и четвергам, Шарлотта. На какой день вам нужен билет?

Город цепко держал меня в своих когтях. Ну почему бы им не установить одинаковое расписа-

ние для междугородных автобусов и сборщиков мусора?

— На четверг, пожалуйста, на завтра.

Пришлось раскошелиться. Я получила всего восемь долларов сдачи. Но билет того стоит, решила я: он был длинный, можно даже обернуть вокруг талии. С чувством удовлетворения и исполненного долга я аккуратно его сложила.

Теперь надо найти приют до четверга. Как обидно, что Сол живет в доме моей матери. А тетя Астер ни за что не позволит остановиться у них в комнате для гостей. Пришлось отправиться в мотель «Голубая луна» — четыре доллара в сутки, пристанище для старшеклассников с сомнительными намерениями. Весь день я, не раздеваясь, провалялась на дешевом несвежем покрывале; в номере ни телевизора, ни даже пилки для ногтей. Я застыла в неподвижности, внушая себе, что это неподвижность зверя, готовящегося к прыжку.

Фабрика губной помады в нашем городе тогда еще не открылась. Поэтому, возвратясь домой после занятий, Сол уже через двадцать минут знал, где я. Всем было известно, куда я пошла: люди видели, как я бежала без пальто по улице холодным октябрьским днем, на крайней мере так ему сказали (на самом деле я шла очень спокойно). Сол

появился в мотеле и два раза отрывисто постучал в мою дверь.

— Шарлотта, открой. Что случилось?

Я вдруг почувствовала себя сильной. Я ликовала. Мне хотелось рассмеяться.

— Шарлотта!.

По его самоуверенному тону было ясно: он не знает что его ждет.

Я молчала.

Вскоре он ушел.

А потом все полетело вверх тормашками. Мне стало очень грустно. Казалось, внутри что-то ломается. О, если б можно было зачеркнуть все, что я сделала в жизни, махнуть на все рукой и умереть. И когда зазвонил телефон, я бросилась к нему. Это был Сол.

— Шарлотта, перестань валять дурака.

— Не перестану.

— Ты что, хочешь, чтобы я взял ключи у миссис Бейнз и пришел за тобой?

— Не выйдет. Дверь на цепочке.

— Но я же знаю, ты не оставишь меня.

— Не оставлю?

— Ты же меня любишь.

— Нисколько.

— Наверно, все дело в твоем состоянии.

— Состоянии? В каком состоянии?

— Ты же беременна.

— Не мели чепуху.

— Меня не обманешь. Я помню, как это было у матери перед появлением на свет моих братьев. Сколько раз я… Шарлотта.

Я стала подсчитывать. Поискала глазами календарь. Календаря в номере не было. Пришлось считать на пальцах, я шепотом произносила числа.

— Шарлотта? — сказал Сол.

— Господи!

— Шарлотта, грешно поминать всуе имя господне.

Беременность подействовала на меня самым неожиданным образом. Я стала энергичной. Бегала по студии, распихивала по углам большие коробки, то и дело передвигала тяжелый фотоаппарат на скрипучей подставке, пока солдат или какой-нибудь другой клиент встревоженно не поднимался со стула:

— Это не повредит вам, мадам?

Я стала сильнее, меньше спала. Иногда далеко за полночь ходила взад-вперед по комнате. Но меня было очень легко обидеть, я могла расплакаться из-за любого пустяка. Например, из-за

Джулиана.

Джулиан — это младший брат Сола, самый красивый и самый беспутный. В нем было что-то мрачное, небрежное, итальянское — все девчонки в школе сходили и нему с ума, его слабостью были азартные игры. Но в жизни азартные игроки совсем не такие герои, какими их представляют в народных песнях: когда нм не везет они опускают руки. Джулиан появился у наших дверей однажды утром, грязный, оборванный. И к тому же по уши в долгах: расплачивался фальшивыми чеками с самого Техаса. Он завалился на одну из старых кроватей Альберты и спал целую неделю, просыпаясь, только чтобы поесть. Поднявшись наконец, он выглядел возрожденным, как человек, выздоравливающий после лихорадки. Он сказал, что готов заниматься чем угодно, что изменит свой образ жизни, вернет долги до последнего цента. Он начал работать в радиомастерской, а Сол написал на бланках баптистского колледжа всем кредиторам Джулиана, которым тот всучал фальшивые чеки, что при первой возможности Джулиан возвратит долг.

Во время ежедневных прогулок, предписанных мне врачом, я проходила мимо радиомастерской; сквозь мутные стекла большого окна я виде-

ла, как на старой фотографии, расплывчатые очертания Джулиана, низко склонявшегося над лампами и проводами. На подоконнике лежали вещи, знакомые мне с самого детства: пластиковая ручка от телевизора, рулон оберточной бумаги, запыленные детали старого фонографа. Мне хотелось войти в мастерскую и вытащить оттуда Джулиана. И порой я сдерживала себя с трудом.

Но Джулиан говорил, что остепенился, что поселится здесь навсегда; он собирался даже стать прихожанином нашего молитвенного дома.

— В Техасе, — сказал он как-то вечером, — я много думал о религии. Думал обо всех этих гимнах и песнопениях, которые раньше нисколько не интересовали меня. Однажды утром, проснувшись в тюрьме — не представляю, как попал туда, — я сказал себе: «Если только выберусь отсюда, возвращусь домой, стану ходить в молитвенный дом, заживу по-иному, исправлю свою жизнь. Буду жить о братом до самой смерти».

Я посмотрела на Сола.

— Скажи им об этом в воскресенье, — сказал он.

— Мне пришлось познакомиться с некоторыми, заключенными. Они почти всю жизнь провели в

тюрьме потеряли всякую надежду. Знаешь, как; они проводят время? Разжевывают хлеб, лепят из него маленькие фигурки и просят охранников продать их на воле.

— Перестань, — сказала я.

— Маленькие фигурки: утенка Дональда, Микки Мауса и других в этом роде. Фигурки из жеваного хлеба.

— Не желаю слушать, — сказала я и расплакалась. Все уставились на меня.

— Успокойся, Шарлотта, — сказал Сол, а мама полезла за пазуху за бумажной салфеткой.

Все эти месяцы я действительно вела себя очень странно.

Наша дочь родилась 2 нюня 1961 года в больнице округа Кларион; я отказывалась от всех болеутоляющих лекарств: хотела знать наверняка, что никто не перепутает моего ребенка с другим новорожденным. Мы назвали ее Катериной. У нее была светлая кожа и темно-русые волосы, лицом она походила на Сола.

Очень скоро выяснилось, что это умный ребенок. Она рано начала садиться, ползать, ходить. Стала складывать короткие слова, когда ей еще и года не было. А немного погодя уже рассказывала себе перед сном длинные таинственные

истории. В два года она придумала себе подругу по имени Селинда. Это казалось естественным и не вызывало у меня беспокойства. Я просила прощения, если наступала Селинде на ножку, за едой ставила для нее отдельный прибор. Но вскоре Катерина решила занять место Селинды, а свое место оставила пустым. Говорила, у нее есть подруга Катерина, только мы ее не видим. Постепенно она перестала вспоминать о Катерине. И у нас осталась Селинда. С тех пор она так и живет с нами. Теперь, когда я думаю об этом, мне кажется, что напрасно я отказывалась от болеутоляющих лекарств.

Иногда по радио рекламируют бесплатные приложения: вы посылаете конверт с обратным адресом и получаете брошюру, озаглавленную «Что было бы, если бы Христос никогда не пришел?…». Меня это просто смешит. Могу перечислить множество вещей, которых мы были бы лишены, если бы этого не произошло, С одной стороны, не было бы испанской инквизиции. С другой — я не потеряла бы мужа, целиком посвятившего себя Хамденскому баптистскому колледжу.

Я в самом деле его потеряла. Это был уже не прежний Сол Эмори. Он усвоил целый свод новых правил, взглядов, прописных истин, суждений;

ему уже в думать не надо было. На все случаи жизни имелись готовые рецепты. Достаточно обратиться к своей религии, и ответ — вот он, под рукой, как Библия у проповедника.

Когда я лежала в больнице с новорожденной Селиндой, этажом выше умирал пресвитер Дэвитт (рак легких, одна из невинных шалостей бога: пресвитер Дэвитт никогда не курил).

К осени 1961 года Сол стал проповедником прихода «Святая Святых». В сан пресвитера его должны были возвести только в июне, но у него уже была своя немногочисленная паства, свой крытый толем небольшой молитвенный дом и крохотная контора, где прихожане могли обсуждать с ним свои разнообразные несчастья. Мало того, он пожелал, чтобы я тоже посещала богослужения. Я отказалась. Сказала, что у меня ест права; он согласился, но выразил надежду, что я все равно буду посещать молитвенный дом, ведь для это так важно.

Что ж, я пошла. В первое же воскресенье; оставила Селинду внизу, в детской комнате, и села на скамью между Джулианом и мамой. На мне был светло-голубой костюм, маленькая шапочка и короткие белые перчатки. Я старалась сделать вид, будто очень увлечена, ведь прихожане именно

этого и ждали от меня. Старалась не показать, какая оторопь меня взяла, когда появился Сол в своем черном костюме, совсем чужой, и твердым, уверенным голосом произнес утреннюю молитву. Прихожане постарше сказали «аминь», остальные хранили благоговейное молчание. Мы все поднялись и запели псалом. Потом снова сели, а Сол стал перебирать на кафедре какие-то бумаги.

— Передо мной, — наконец сказал он, — вырезка из газеты за прошлую среду из рубрики «Ответы доктора Тейта», — Слова его отдавались глухим эхом, точно под сводами вокзала. — «Дорогой доктор Тейт, обращаюсь к Вам из-за сложностей в моих взаимоотношениях с врачом. Пишу об этом, чтобы высказать свое мнение о врачах и об их отношении к человеку. Мой врач требует, — чтоб я посещала его каждый четверг, и удивляется, почему мой диабет обостряется. Я ему говорю, не знаю. Сказать по правде, доктор Тейт, я действительно злоупотребляю пирожными, хотя и не признаюсь в этом. Иногда у меня появляется желание наесться сладкого до отвала. Я злоупотребляю и вином. Вино, конечно, не настоящий алкоголь, но мне стыдно признаться, что днем я нередко прикладываюсь к бутылке,

вот я и не говорю об этом своему врачу. Доктор Тейт, муж разлюбил меня, он встречается с другой женщиной, а мои единственный сын умер от болезни костей всего трех лет от роду. Я вешу двести тридцать один фунт, и вся кожа у меня в прыщах, хотя, говорят, это проходит к двадцати годам, а мне уже сорок четыре. Но ничего этого я не могу рассказать своему врачу, и знаете почему? Потому что он так себя ведет, будто, если ты не соблюдаешь диету, ты ему неприятна. Как же после этого я могу во всем ему признаться? И вот я хочу спросить у Вас: где же тут справедливость, доктор Тейт?»

Меня это заинтересовало. Я сложила перчатки и посмотрела на Сола в ожидании ответа доктора Тейта. Но вместо того, чтобы прочесть ответ, Сол отложил газету в сторону и окинул взглядом прихожан.

— Автор этого письма не исключение, — сказал он, — Им может быть и любой из вас, и я сам. Эта женщина живет под страхом осуждения, в мире, где любовь — понятие условное. Она стремится постичь, в чем же суть дела. И единственный человек, которого она решается об этом спросить, — это официально практикующий врач. Как же мы до этого дожили, в конце концов?

Неужели мы так далеко отошли от Бога?

Я зевнула и аккуратно сложила перчатки.

Больше я уже не слушала проповедей Сола.

Но это не значит, что я перестала посещать молитвенный дом. О нет, я появлялась там каждое воскресное утро, садилась на скамью между мамой и Джулианом и улыбалась милой улыбкой жены. Пожалуй, это даже доставляло мне удовольствие: и что он сейчас отдален от меня, и ощущение мечтательной покорности, и никому не ведомая, недосягаемая глухота, в которую я погружалась. Его слова скользили мимо меня, как тиканье часов или шум океана. Тем временем я смотрела, как его руки опираются на кафедру, восхищалась его четко очерченными губами. Придумывала, как заманить его к себе в постель. Скамья, на которой я сидела, действовала на меня магически, обращала все мои мысли к постели. Это у меня, наверное, из духа противоречия. По воскресеньям Сол не хотел заниматься любовью. А я хотела. Побеждала то я, то он. Я бы ни за что не пропустила ни одного воскресенья.

В те первые годы у меня было много иллюзий. Я надеялась, что в один прекрасный день он вдруг откажется от своей веры и займется чем-нибудь другим. Примкнет, например, к банде мотоцик-

листов. А почему бы и нет? Мы бы разъезжали с ним повсюду. Селинда и я — позади. Я бы держала его за талию, прижимаясь щекой к его черной спине.

Черной.

Вот именно, это уже стало его сутью: даже на мотоцикле он сидел бы в поношенном черном костюме, и при нем всегда была бы Библия. Нет, он так и останется на всю жизнь проповедником. Но если даже все будет иначе, не уверена, что для меня это что-нибудь изменит.

Сол нередко приглашал к нам на воскресный обед разных бездомных людей, прихожан со Скамьи Кающихся. Иногда они так и оставались в нашем доме. Так, на втором этаже у нас жила пожилая дама, мисс Фезер, — ее выдворили из квартиры весной 1963 года, и она поселилась у нас до тех пор, пока не найдет себе другого жилья. Она так и не нашла его. И по-моему, не найдет никогда. У нас останавливались солдаты, бродяги, коммивояжеры, проезжие баптисты, тоскующие по богослужениям, наслаждавшиеся моими блинами из гречневой муки. Однажды в воскресенье к Скамье Кающихся подошел бородатый человек в рабочей одежде, прихожане как раз пели гимн «Я такой, как есть». Сол прервал пение и спу-

стился с кафедры. Положил руки на плечи этого, человека. Потом обнял его, прижал к груди его голову с темными блестящими волосами голову… ну конечно же! Голову Эмори. Лайнуса Эмори, того самого Лайнуса, который заболел нервным расстройством и после смерти своей тети вернулся назад. Всегда подавленный, он от встречи этой светился как тончайшая фарфоровая чашка, поднесенная к пламени свечи. Мы повели его домой обедать. Он сидел за столом и смотрел на нас, вглядывался в лицо Селинды, жадно вслушивался в каждое слово, точно произносил его вместе с нами. Даже мама, даже пожилая мисс Фезер, предлагавшая ему домашнее печенье, вызывали блеск в его в глазах. Он так счастлив снова очутиться дома, сказал Лайнус. Потом поднялся наверх и занял одну из старых кроватей Альберты, а свои пожитки, вынутые из дешевого чемодана, разложил в комоде.

Вы следите за развитием событий? Теперь нас стало семеро, не считая временных постояльцев. Эймос все еще находился в Айове, кажется преподавал там музыку, Альберта жила где-то в Калифорнии. Все принадлежавшее ее дому мы взяли к себе. Ее кровати, шляпы, ее сыновья находились под нашей крышей, и окна ее дома

смотрели в нашу сторону. Даже мама посмуглела, а мисс Фезер усвоила гордую осанку семейства Эмори. И личико Селинды стало такое ангельское, какое бывает на портретах в медальонах.

— Ты заметил, — спросила я Сола, — сколько теперь в нашем доме представителей семейства Эмори?

В ответ он только кивнул, не поднимая головы от своего календаря. Наверняка справлялся, когда предстоят очередные похороны или встреча молодежной группы.

— Я всегда мечтал, чтобы моим братьям было куда возвратиться, — сказал он.

Вот, оказывается, о чем он всегда мечтал.

Теперь мне все стало ясно. Наконец-то я его поняла: он был просто одинокий солдат, тоскующий по дому, жене, семье, вере. Случай весьма распространенный. На любой Скамье Кающихся найдется такой человек.

— Ты просто ищешь возможности уйти от одиночества, — сказала я.

— Такой возможности не существует, — отозвался Сол. Захлопнул календарь и посмотрел через комнату в темный коридор. И меня снова охватило сомнение: нет, не понимаю я его. Каков он был — я пыталась понять это все годы, что мы

жили вместе, и сегодня опять не знаю, какой же он на самом деле. Наверное, так и буду отставать всю жизнь.

— Ну, а эти… расходы! Как мы прокормим их всех? — крикнула я, чтобы не поддаться ему. Перед моими глазами были медные тарелочки для пожертвований — единственный источник его дохода; грошовая фотостудия и радиомастерская едва покрывали карточные долги Джулиана, которые то уменьшались, и разрастались, как живое существо, в зависимости от приступов депрессии.

— Бог поможет, — сказал Сол. И ушел в молитвенный дом.

Надежда покинула меня. И, чтобы избавиться от лишних переживаний, я растормозилась, немного оторвалась от земли и стала смотреть на вещи с мягким юмором, который щекотал в носу, как будто я собиралась чихнуть. Скоро юмор вошел в привычку, я не могла расстаться с ним, если бы и захотела. Окружающий мир начал казаться мне… как бы это сказать… непостоянным. Стало ясно: у меня созревает решение уехать. Конечно, оставаться с ним дальше было невозможно. Теперь в тайном отделении кошелька при мне всегда был аккредитив на сто долларов. Я купила

себе пару крепких туфель. Я не собиралась брать с собой ничего, кроме Селинды — мой багаж, любимый и обременительный. Когда же подует попутный ветер, который унесет нас с собой?

Теперь в фотостудии я иногда прекращала работу, словно ожидая порыва этого ветра, поднимала голову и, застывая в неподвижности, прислушивалась. И тогда клиент начинал откашливаться или шаркать ногами. Я спохватывалась и быстро подкатывала к нему фотоаппарат, который до сих пор не считала своей собственностью. Он принадлежал отцу. Это была его комната, со стен свешивались его пожелтевшие, свернувшиеся фотографии. Я была здесь временным постояльцем. Мои снимки, ясные и непринужденные, были отмечены тем изяществом, которое приобретают вещи, когда они не представляют для тебя особой ценности.

# *Глава 11*

Приют Доротеи Уитмен — окруженный деревьями особняк — стоял на холме.

— Тс-с-с! — сказал Джейк, вглядываясь в здание приюта сквозь ветровое стекло.

Мы остановились возле ворот, увенчанных шарами из ноздреватого камня. Было шесть утра; мы оба не выспались и продрогли до костей. К тому же еще не позавтракали. Мы могли бы перекусить, но вместо этого Джейк занялся бритьем. Он брился без воды, лицо его стало красным и неузнаваемым. Куда разумней было бы заехать в придорожное кафе. Минди Кэллендер не было и в помине.

— Она так мне говорила, — сказал Джейк. — «Остановись у ворот, а я спущусь вниз». Разве это не ворота? Как по-твоему?

— Похоже, ворота, — сказала я.

— Может, речь шла о парадной двери?

— С какой стати она бы стала называть парадную дверь воротами?

— Видишь ли, если ей надо давать деру, мы должны подогнать машину поближе.

— По-моему, надо ждать у ворот, — заметила я.

— У меня разговор короткий, — сказал Джейк. — Жду еще пять минут, и едем дальше. Готов ошиваться где угодно, только не здесь.

Высоко на холме открылась массивная резная дверь особняка, и кто-то вышел. Издали казалось, что это маленькая заводная кукла. Ее круглый живот, точно яркий цветочный бутон, выступал вперед на добрых два фута. На ней была соломенная шляпка и что-то розовое, в руках — чемодан и какой-то темный сверток. Она шла, ни разу не взглянув в нашу сторону, шла осторожно, выбирая дорогу, опустив голову, так что нам был виден только верх ее шляпки.

— Это Минди? — спросила я Джейка.

— Нет, надзирательница.

— Но ведь я же понятия не имею, как выглядит Минди.

— Это она, Минди, — сказал он, — Вечно вырядится как чучело гороховое.

Минди уже подошла ближе, и видно было, как она одета: пестрый сарафан — совсем не подходящий для беременной женщины — с тонюсенькими лямочками на плечах. Поля шляпки окаймлены маленькими вышитыми сердечками. Сверток в руках оказался кошкой.

— Господа, еще и кошка! — сказал Джейк.

При этих словах Минди подняла голову и посмотрела на нас. У нее было круглое детское лицо с острым подбородком, распущенные до пояса светлые волосы. Метрах в трех от машины она остановилась, поставила чемодан, но не улыбнулась.

— Наконец-то! — вздохнул Джейк. Открыл дверцу и вылез из машины, — Привет, Минди! — окликнул он.

— Кто это там с тобой?

— Хм-м.

— Кто эта женщина, Джейк?

— Пока что она поедет с нами, — сказал Джейк. — Скорее лезь в машину.

— Как же я влезу, если дверца на цепи?

— Заходи с моей стороны. Поворачивайся, Минди. Они могут спохватиться в любую минуту.

— Да нет, все еще спят, — сказала Минди. Она обошла вокруг машины, волоча за собой на вытянутой руке чемодан и с трудом удерживая кошку.

Джейк отклонился в сторону, но не отступил.

— Имей в виду, никаких кошек.

— Но это мой кот.

— Послушай, Минди.

— Это же мой собственный кот.

Джейк потер нос.

— Ну ладно, ладно. Только смотри, держи его на коленях.

Джейк открыл заднюю дверцу, запихнул в машину ее чемодан и посторонился, чтобы она тоже могла сесть сзади. Минди не тронулась с места.

— Разве я буду сидеть не впереди? — спросила она.

— С какой это стати?

— Мы так давно не виделись, — а ты говоришь «с какой стати».

Минди вдруг приподнялась на цыпочки и свободной рукой обняла его за шею. Она действительно была крохотная. Только живот, от которого Джейк упорно отводил глаза, огромный.

— Нам надо так много обсудить, — сказала она и поцеловала его в уголок рта. Потом влезла в машину, тяжело опустилась на сиденье, повернулась ко мне и сказала: — Минди Кэллендер.

— Шарлотта Эмори.

— Ой, откуда взялась эта развалюха? Пылища — не продохнешь.

Может, она была и права, но я слышала только запах ее духов — приторный клубничный за-

пах. Усевшись за руль, Джейк немного опустил стекло.

— Вас не продует? — спросила я у Минди.

— Нет, нет. У меня приливы.

— Что?

— Семь месяцев горю как в огне. Не могу спать под одеялом, не ношу свитеров. Это бывает редко, у очень немногих женщин, — она бросила взгляд на Джейка, но тот молчал. — Редко, но бывает.

Джейк завел мотор, и мы тронулись в путь.

— Это что за шум такой? — спросила Минди.

— Какой шум?

— Что это за машина, Джейк? Где ты только раздобыл ее?

— У друга.

— Ничего себе друг.

Она уселась поудобнее, прижимая к себе кота. Кот был рыжий, в разводах, со сверкающими желтыми глазами и обгрызанными ушами. Ему явно не нравилось, что его держат на руках. Он попытался было вырваться, Потом как будто смирился, но это только так казалось: глаза у него были широко раскрыты, кончик хвоста подергивался, и всякий раз, как Минди гладила его, он сбрасывал ее руку.

— Плимут, видно, предпочел бы остаться до-

ма, — сказала Минди.

— Кто? — спросил Джейк.

— Плимут. Мой кот.

— На его месте и я бы предпочел. На кой он тебе сдался? Ты же никогда не любила кошек.

— В приюте у каждого свой подопечный, — сказала Минди, — Говорят, это полезно для нервов.

— Для нервов?

— У одних собаки. У других птички.

— Ну, птички уж, по-моему, совсем ни к чему, — сказал Джейк.

— А еще мы рукодельничаем. Это тоже полезно для нервов. И много разных других занятий: лекции, уроки. Вот вчера вечером у нас был урок ухода за ребенком потому-то я и не могла встретиться с тобой. Мы должны, были купать резиновую куклу, я не хотела пропускать этот урок.

Джейк резко затормозил, хотя впереди на шоссе не было ни одной машины. Он повернулся, в упор посмотрел на Минди.

— Следи за дорогой, Джейк, — сказала она.

— Постой, постой-ка, — сказал Джейк. — Значит, ты не вышла к нам вчера вечером только потому, что тебе надо было купать куклу?

— Ну, и еще была куча всяких дел.

— Минди Каллендер, известно ли тебе, где мы провели прошлую ночь? Под открытым небом. В машине, в чаще леса, без всяких твоих приливов, которые могли, бы нас согреть.

— Кого это «нас»? — спросила Минди.

— Меня и Шарлотту. Кого же еще?

Она пристально посмотрела на меня. Радужка ее глаз была в крапинках.

— Не понимаю, — сказала она. — Откуда же вы едете?

— Из Клариона, — ответил Джейк.

— И она все это время с тобой?

— Она… поедет с нами до Флориды, — сказал Джейк. — А там мы с ней распрощаемся.

— Флорида! Джейк, дорогой, неужели мы едем во Флориду?

Она приподнялась, потянулась к Джейку, привлекла его к себе, ее юбка накрыла мои колени. Машина резко вильнула. Кот рванулся, прыгнул на заднее сиденье и принялся с недовольным видом отряхиваться.

— Полегче, — сказал Джейк, — По-моему, нет ничего плохого в том, что мы месяца два поживем в тепле. К тому же во Флориде — Оливер.

— Оливер, Оливер. Вечно этот Оливер, — пробурчала Минди, стряхивая с сарафана рыжие

шерстинки. Теперь, когда кот не сидел у нее на коленях, оказалось, что у нее есть еще и сумочка из белого блестящего пластика в форме сердца, девочки ходят с такими в воскресную школу. Она перехватила мой взгляд и покачала сумку на ремешке: — Нравится? Совсем новенькая.

— Очень красивая, — похвалила я.

— По-моему, вполне подходит к моему туалету.

Она подняла худую, топкую кисть в браслете с брелоками — сердечками всевозможных размеров и цветов. Розовый камешек в ее колечке тоже был в форме сердца и материя на сарафане вся в сердечках.

— Мой символ — сердце, — объявила Минди. — А у вас?

— У меня, пожалуй, нет символа, — ответила я.

— Вы замужем, Шарлотта?

— Конечно, замужем, отстань от нее, — сказал Джейк.

— Я просто спросила.

— Не приставай к ней со своими дурацкими распросами.

— Послушай, Джейк, мы с ней болтали о моей сумке, я только и спросила…

— У тебя в этой сумке деньги есть?

— Что? Не знаю. Наверное, есть немножко.

— Сколько именно?

— Ты же против дурацких расспросов!

— Просто я уехал из дому без бумажника.

— Как же это ты?

— Неважно как, уехал и уехал. Сколько там у тебя?

Минди открыла сумку.

— Десять, пятнадцать… шестнадцать долларов и еще какая-то мелочь — вот и все.

— Не густо, — заметил Джейк.

— Пошел ты к черту.

Мы обогнали грузовик с живыми курами в клетках. Наступило молчание. Потом Джейк сказал:

— Значит, вам разрешали иметь при себе деньги?

— Конечно.

— На что же они вам были нужны?

— Ну, если мы хотели пойти в город или купить что-нибудь: молочный коктейль, шампунь, иллюстрированный журнал.

— И вас свободно отпускали в город? — спросил Джейк. — В любое время, когда захотите?

— А что в этом плохого?

Я вцепилась в ручку дверцы и ждала, что будет дальше. Но Джейк не сказал ни слова. Знай себе

едет а лицо каменное.

Мы остановились позавтракать в каком-то кафе; в туалете Минди попросила меня помочь ей расчесать волосы и сделать два хвостика.

— Боялась причесываться сама, — сказала она. — А соседка по комнате еще спала.

— Чего же ты боялась? — спросила я.

— Вы же знаете, мне нельзя высоко поднимать руки. Пуповина может задушить ребенка.

— Но…

— Как я выгляжу? — спросила она.

С этими двумя задорными хвостиками и доверчивыми голубыми глазами она выглядела моложе моей дочери — ни дать ни взять двенадцатилетняя девочка. Рядом с ней я вдруг увидела в зеркале немолодую, поблекшую женщину с прямыми волосами, в измятом плаще, который явно не снимали ни днем ни ночью.

— У вас разве нет помады? — удивилась Минди.

— Помады? Нет.

— Тогда возьмите мою.

Она протянула мне открытый тюбик розовой, пахнущей фруктами помады. Я возвратила его:

— Спасибо.

— Почему? Вам надо немного подмазать губы.

Вы очень бледная.

— Спасибо, я…

— Хотите, я сама вас подкрашу?

— Нет, спасибо.

— Знаете, в приюте я была как косметичка. Многие девчонки так и не научились следить за собой. Не двигайтесь…

— Перестань.

Она испугалась. Отступила назад.

— Прости, пожалуйста.

— Ничего, — сказала она. Молча закрыла тюбик колпачком и бросила помаду в сумку. Потом тихонько пробормотала: — Вот тебе и на!

Когда она подняла голову, я увидела, что лицо у нее стало бледное, испуганное, даже как-то уменьшилось.

— Не обижайся. Просто я не хочу, чтобы из меня получился другой человек. А вдруг, — сказала я, пытаясь обратить все в шутку, — я так и останусь с чужим лицом? Знаешь, как бывает, когда скашивают глаза, разве мама никогда не предупреждала тебя об этом?

— Как по-вашему, Шарлотта, он хоть немножко рад меня видеть? — спросила Минди.

— Конечно, рад, — ответила я.

Теперь мы ехали медленнее: приходилось то

и деле останавливаться. Во-первых, кота без конца укачивало. Время от времени он жалобно мяукал. Джейк сыпал проклятьями, тормозил и сворачивал к обочине. На беду, кот ни за что не хотел вылезать из машины. Мы хором начинали звать его: «Плимут! Иди сюда, Плимут!» Но он забивался под сиденье, а мы беспомощно слушали, как его рвет.

— И это полезно для нервов? — спрашивал Джейк.

Во-вторых, Минди мучили судороги в ногах. Всякий раз, когда начиналась судорога, нам приходилось останавливаться, чтобы Минди могла хоть немного походить, пока не станет легче. Мы стояли, прислонясь к машине, и смотрели, как она, припадая то на одну, то на другую ногу, ковыляет по полю, усеянному цветами и бутылкам из-под пива. Было по-настоящему тепло, солнце светило так ярко, что приходилось щуриться. Издалека Минди казалась маленьким, озаренным солнцем роботом.

— Проходит! — кричала она. — Мне уже легче!

— Вот сейчас я начинаю жалеть, что не курю, — сказал Джейк.

— Я чувствую, как расслабляются мышцы!

Куртка Джейка пузырем вздулась на ветру. Он

стоял рядом со мной. Наши локти соприкасались. Мы были похожи на родителей, которые вывели ребенка на прогулку в парк.

— Ты ведь рожала? — вдруг сказал он, словно читая мои мысли.

Я кивнула.

— А судороги в ногах у тебя были?

— Да вроде нет.

— Это все ее выдумки.

— Вряд ли.

Я почувствовала, он смотрит на меня. И отвернулась. Тогда он спросил:

— Сколько?

— Что?

— Сколько детей?

— Двое, — сказала я.

— Твой муж любят детей?

— Ну конечно.

— А что он делает?

— Что делает?

— Чем зарабатывает на жизнь? Шарлотта, о чем ты думаешь?

— Да… Так он… в общем, он проповедник.

Джейк присвистнул.

— Разыгрываешь?

— Нет.

Минди неторопливо направлялась к нам, за ней полосой тянулись примятые цветы.

— Теперь совсем прошло, — сказала она.

Джейк посмотрел на нее отсутствующим взглядом, словно не мог понять, что именно у нее прошло.

Часов в двенадцать дня мы проехали мимо большого щита в виде горки пластмассовых апельсинов — приветствие по случаю прибытия во Флориду.

— Ура! — крикнула Минди. — Сколько нам теперь осталось ехать?

— Еще накатаешься, — сказал Джейк. — Ты что, никогда не видела карту США? Мы едем вниз, по знаменитому Большому Пальцу.

— Я устала от езды. Разве нельзя остановиться в мотеле или еще где-нибудь? Мисс Боханнон говорит, в моем положении долго ехать в машине вредно.

— Что еще за мисс Боханнон?

— Фельдшерица, она учит уходу за ребенком.

Джейк нахмурился и нажал на акселератор.

— Не понимаю, — сказал он, — зачем там преподают уход за ребенком.

— Чтобы научить, как ухаживать за ребенком, дурачок.

— Пустое дело, по-моему, — заметил Джейк, — Ведь большинство девчонок отдадут своих детей на усыновление.

— Верно, но такие девчонки не ходят на эти занятия. Они посещают курсы по уходу за внешностью.

— Ясно, — сказал Джейк. …

Какое-то время он ехал молча. По его лицу было видно, что он о чем-то размышляет. Потом он снял ногу с акселератора.

— Постой-ка.

— Что такое?

— Ты что, собираешься оставить этого ребенка?

— Конечно.

— Ну, знаешь, по-моему, это ни к чему…

— Как, Джейк? Что же, по-твоему, мы должны…

— Мы?

Минди повернулась и посмотрела на меня. Я уставилась на проплывающую мимо бензоколонку.

— Ты на что это намекаешь, Минди? — спросил Джейк. — Рассчитываешь, что мы поженимся?

— Конечно, рассчитываю. Иначе зачем тебе было ехать в такую даль? Надо хоть немножко

любить меня, чтобы столько проехать.

— Не зверь же я, в конце концов, — сказал Джейк. — Даже когда угоняют самолеты, детей отпускают. Даже когда дерутся за места в спасательных шлюпках, детей сажают в первую очередь.

— В шлюпках? Ты о чем? При чем тут шлюпки?

— Я ехал спасать ребенка из тюрьмы. Умора! Ничего себе тюрьма. Да ты меня просто надула!

— Нет, не надула! Зачем ты так говоришь? Так вот, послушай, Джейк Симмс, — сказала Минди. — На попятный ты не пойдешь. Ехал в такую даль, забрал меня из приюта, привез в другой штат — и вдруг передумал? Ну нет! Мы с тобой поженимся, у нас будет ребенок и самый прекрасный дом на свете.

— Ни за что, — отрезал Джейк.

— Если хочешь, можем остаться здесь, во Флориде. Купим маленький домик по соседству с Оливером, разве плохо? И вообще, климат здесь для детей самый подходящий. — Она обернулась ко мне. — Здесь они не будут постоянно простуживаться, и нам не надо будет покупать им зимние вещи. Здесь жить дешевле. Я так люблю тепло. Обставим дом по-летнему, все будет яр-

ких цветов: плетеные стулья, белые занавески с оборками, перевязанные посредине лентой, эти, как их?…

— Занавески «присцилла», — подсказала я.

— Ага, «присцилла». Обязательно повесим. Занавески «присцилла». Во всех комнатах, кроме гостиной. Там будут портьеры из искусственного шелка, Золотистые или, может, оливкового, цвета. Какие-тебе больше нравятся, Джейк? Золотистые? — Джейк молча смотрел прямо перед собой. — Оливковые?

Мимо нас проплывали кладбища старых лодок и катеров, конторы по продаже и аренде недвижимости, кондитерский. Все запущенное, обшарпанное. Если эта и есть Флорида, мне она совсем не по душе. Даже солнце здесь светит как-то не так, плоское, белесое, навалившееся на жестяные крыши придорожных киосков…

— Джейк, у меня опять судорога, — сказала Минди извиняющимся тоном.

Выражение лица Джейка не изменилось. Он съехал на обочину и затормозил. Под задним сиденьем вопил кот. Джейк вышел из машины, и мы обе вылезли следом за ним. Судя по указателям, мы находились на окраине маленького, убогого городишка под названием: Парнесто.

Минди могла пройтись только вдоль дороги, по усыпанному мусором гравию, добела раскаленному, ослепляющему блеском слюдяных прожилок. Сцепив руки под животом, она быстро пошла вперед.

— Не вздумай посылать меня следом за ней, — сказал Джейк.

Я удивилась:

— Посылать?

— Все вы, женщины, такие или, может, нет? «Ах, пойди за ней, Джейк, Посмотри, может, ей надо помочь».

— Но я и рта не раскрыла.

— Собиралась.

— Ничего подобного!

Минди споткнулась. Упала на колено.

— Пойди помоги ей, — сказал Джейк.

Я бросилась к Минди. Но пока добежала, она уже поднялась на ноги.

— Минди, — спросила я, — ты не ушиблась?

— Нисколечко, — сказала она, отряхивая сарафан. Ее глаза были опущены, длинные светлые ресницы неумело подкрашены растекающейся тушью. — Надо изо всех сил наступать на каблуки. Это помогает при судорогах. Если ударять каблуками по гравию, вот так то… — Она оста-

новилась и посмотрела на меня. — Шарлотта, я, не врала, честное слово. Скажите ему, если он не понимает. Ведь это на самом деле как в тюрьме когда человеку некуда, больше идти. Правда?..

— Конечно, — сказала я. — Хочешь, давай повернем обратно?

— У меня просто нет выбора, ему придется смириться, — говорила она, послушно шагая за мной. — Мне ведь тоже не сладко приходится. На пятом или шестом месяце я до того разозлилась, мне так надоело ждать, даже показалось, я его разлюбила. А может, на самом деле разлюбила? Но что делать? Другого выхода у меня нет.

Мы шли по полоске гравия, утопая в пакетах из-под хрустящего картофеля и обертках от конфет. Джейк ждал нас в машине. Он сидел на пассажирском месте, опустив голову на руки.

Начиная с Парнесто за руль села Минди. Сказала, это помогает от судорог. Я осталась на своем месте, а Джейк пересел в середину. Несмотря на жару, он оставался в куртке с поднятым воротником, словно так чувствовал себя в безопасности. Ветер теребил его волосы, собирал их в большие влажные кольца; кожу у меня на лице стянуло, она стала соленой от пота. И только Минди, у которой была своя особая терморегуляция,

казалось, чувствовала себя превосходно. Растопырив локти и вздернув подбородок, она быстро и плавно вела машину, отчего у нее постепенно поднялось настроение. Вскоре она замурлыкала что-то. А потом запела песню «Любовь сблизит нас». И когда ее нога на акселераторе стала отбивать такт, Джейк сказал:

— Полегче!

Но вообще-то он предоставил ей полную свободу, а сам чуть сполз на сиденье вниз, скрестил руки на груди, откинул назад голову. Я было подумала, он спит, но, приглядевшись, заметила щелочки его полузакрытых серых глаз.

Под вечер в каком-то городке — я не разглядела его названия — мы остановились у магазина Вулворта. Минди хотела выпить в кафетерии молока. Она сказала, ей необходимо ежедневно выпивать по крайней мере четыре стакана.

— Ладно, — сказал Джейк. — По моим расчетам, до Перта всего несколько часов езды. Может, потерпишь?

— Это нужно не мне, а ребенку. О себе я бы и не заикнулась. Терпеть не могу молоко, Ну, пошли?

Она вылезла из машины, словно розовое облако; мы вошли в магазин следом за ней. Магазин был старый темными скрипучими полами,

пропахший жареной кукурузой. Полки забиты бутылками с лаком для волос, машинками для подкручивания ресниц, очками в оправе «арлекин», пластмассовыми кулонами с горчичными семечками внутри, а я-то думала… все это давным-давно исчезло из обихода. Внимание Минди привлек набор — солонка и перечница в виде крохотных керосиновых ламп, — она решила его купить. Я подумала, Джейк начнет ее подгонять, но нет. Стоит неподалеку, руки засунул в карманы, лицо вялое, безжизненное, и разглядывает валяющийся на полу комикс. Потом мы прошли в кафетерий, Минди заказала стакан молока.

— Ну и гадость! — сказала она, когда его подали. — Такое белое, такое густое.

Официантка обиделась и, шлепая тряпкой по всему, что попадалось под руку, гневно удалилась.

— Ну, это для тебя, Элтон, — сказала Минди, похлопывая по животу, и стала прихлебывать молоко в большими глотками. — Мы назовем его так в честь Элтона Джона, — обратилась она ко мне.

Джейк изучал рекламу с изображением серого молочного коктейля и розовой пластмассовой сосиски, уцелевшую с сороковых годов. Я пе-

релистала брошенную кем-то газету в поисках детского комикса «Арахис», нашла, но он не развеселил меня.

— Когда мы снова вышли на улицу, свет на мгновение ослепил нас. Все вокруг было таким раскаленным и ярким; мимо прогромыхал табун сверкающих мотоциклов. Джейк вытер лицо рукавом.

— Напомни, чтобы в следующий раз я взял машину с кондиционером, — сказал он мне. — В нашей сейчас настоящее пекло.

Слова эти прозвучали для Минди как сигнал тревоги.

— Ой, нет! — закричала она и бросилась бежать.

— Что я такого сказал? — спросил Джейк.

Я пожала плечами.

Минди судорожно пыталась открыть запертую на цепь дверцу автомобиля, потом остальные дверцы. Потом она исчезла из виду. Подойдя к машине со стороны водительского места, мы увидели, что Минди стоит коленях возле заднего сиденья и похлопывает рукой по пыльным коврикам.

— Плимут! Плимут!

— Мы оставили открытыми окна, — сказала

я Джейку.

— Это вы оставили свое окно открытым. — Минди выпрямилась. На переносице у нее было грязное пятно, волосы растрепались. — Свое я закрыла до отказа. Разве я могла об этом забыть?

— Ой, Минди, прости. Я думаю, можно будет…

— Твой кот задохнулся бы в этом пекле, если бы все окна остались закрытыми, — сказал Джейк. — Нельзя все валить на одну Шарлотту.

— Вы оба виноваты. И ты, и она. Вы не хотели, чтобы Плимут ехал с нами. Плимут! Ой, что же с ним теперь будет? В незнакомом городе… А может, он и не понимал, что его куда-то везут, он же с самого начала забился под сиденье! Выпрыгнуть в окно и очутиться в чужом месте — что же он теперь думает?

— Ну, успокойся, Минди, — сказал Джейк. — Я уверен, с ним ничего…

— Много ты понимаешь! А теперь вы оба отправляйтесь на поиски кота, сию же минуту. Слышите?

Она топнула босоножкой по асфальту. На шее вздулась голубая жилка. У Джейка отвалилась челюсть.

— Минди! Какая муха тебя укусила? — Она не ответила. — Ты изменилась, Минди. Стала норо-

вистая, грубая.

— Да. Может, ты прав. Но это и твоя вина, Джейк Симмс. Дело не только во мне.

Они смотрели друг на друга. Оба замерли, слышно было только, как они дышат. Потом Джейк сказал:

— Хм, этот кот… Пожалуй, пойду поищу. Ты идешь, Шарлотта?

— Иду, — сказала я.

Мы пошли вдоль тротуара, Минди осталась у машины — на случай, если кот вернется. Мы заглядывали под каждую машину в надежде увидеть светящиеся глаза Плимута.

— Как по-вашему, он знает свою кличку? — спросила я Джейка.

— Семь бед — один ответ.

Я взяла Джейка под руку. Мы прошли мимо еще нескольких машин, но уже не заглядывали под них. Дошли до конца квартала и остановились возле витрины бюро путешествий.

— Вот этот вид спорта я никогда не пробовал, — наконец сказал Джейк. Он смотрел на плакат с лыжником. — Ты когда-нибудь ходила на лыжах?

— Никогда. Хотя всю жизнь мечтала об этом.

— Думаешь, это опасно?

— Разве что немножко.

— Думаю, я бы не подкачал. Хотя это довольно наглое заявление.

— Может, стоило поехать на север, а не на юг? — сказала я.

— В какое-нибудь холодное место.

— Туда, где чистый, прохладный воздух.

— Да-а-а! — вздохнул Джейк.

— Да-а-а… — Мне вдруг пришла в голову одна мысль. — Послушайте, — сказала я. — А что, если Плимута кто-нибудь подобрал?

— Подобрал?

— Теперь он может быть уже далеко отсюда. На другом конце округа. За тридевять земель.

— Не исключено, — согласился Джейк. — Конечно! Где угодно! И рад, что попал туда. Глупо гоняться за ним.

Обратно мы возвращались поодиночке. Минди стояла, опершись о дверцу машины. Издали она выглядела старше, не такой беспечной. Она уставилась на собственные ноги, и по ее неуклюжей позе можно было предположить, что у нее болит поясница, как часто бывает на последних месяцах беременности. Вряд ли она надеялась, что мы найдем ее кота. Когда мы подошли, она едва взглянула на нас.

— Так вот, Минди, — начал было Джейк.

Но она устало отмахнулась и выпрямилась, поддерживая живот руками.

— Поехали.

Мы уселись на свои места. Мое к этому времени, казалось, уже приняло форму моего тела. С закрытыми глазами я знала, куда ставить ноги, чтобы не опрокинуть стоящую на полу чашку с растаявшим льдом. Джейк положил руку на спинку сиденья позади Минди.

— Этому коту все равно было с нами мало, радости, — сказал он. — Что ни делается, все к лучшему Согласна?

Минди не ответила. Она нахмурилась, поджала губы, и, глядя прямо перед собой, резко подала назад. Мы стукнулись о машину, стоявшую сзади, метрах в трех от нас. Джейк снял руку со спинки сиденья.

— Порядок. А теперь подай чуть вперед. Посигналь этому типу, что выезжаешь.

Минди опустила стекло и свесила за окно руку, словно это была смятая, жеваная лента. Машина выбралась на дорогу, проехала на желтый свет и еще несколько кварталов катилась наугад. Джейк переменил позу.

— Минди… — начал он.

Дорогу нам преградил полосатый деревянный барьер. Его охраняли двое полицейских, они стояли к нам спиной со скрещенными на груди руками. Внушительно стояли, упрямо. С ремней свисали кобуры, транзисторы и планшеты — все из одинаковой черной грубой кожи.

— Боже праведный! — воскликнул Джейк. В последнюю минуту Минди затормозила, — Поехали в объезд. Давай задний, а теперь двигай вперед, прямо на них Разворачивай.

— Что? — переспросила Минди.

— Так нельзя, сказала я Джейку. — Здесь одностороннее движение. Сидите спокойно и смотрите парад.

— Парад?

Мимо ветрового стекла, весь в белом с золотом проплыл тамбурмажор, пронзая воздух серебряным жезлом. Грянули трубы духового оркестра.

— Точно, парад, — облегченно вздохнул Джейк.

Минди расплакалась. Мы наклонились к ней.

— Минди? — сказал Джейк.

— Все против меня, — всхлипывала она. — Никогда в жизни не получится, как я мечтала! Мы так и не доедем до Флориды!

Она уронила голову на руль и обхватила его

обеими руками. Плакала навзрыд, как ребенок. Но мы слышали ее плач только в паузах марша «Король дороги», налетавшего на нас откуда-то с запада.

— Минди, что с тобой? — спросил Джейк. — У тебя все в порядке? — Она покачала головой. — Ничего не болит?

— Все у меня болит. — Голос у нее был приглушенный, гулкий, точно звук колокола. — Ведь мне еще совсем немного лет. Не могу я все одна!

Джейк протянул руку и выключил мотор. Машина вздрогнула и замерла. Казалось, победил «Король дороги». Он захлестывал все вокруг. Мимо промаршировал оркестр: ученики средней школы — худощавые подростки, мальчишки с острыми кадыками и потные девчонки. Но голова Минди по-прежнему лежала на баранке, и Джейк повернулся ко мне, словно ожидая от меня, чего-то.

— Помоги мне, Шарлотта, а?

Понятия не имею, что делают в таких случаях. Я достала из сумки и протянула ему косметическую салфетку.

— Спасибо, — сказал он.

— Или, может… принести воды?

Он посмотрел на Минди, которая все плакала.

Не представляю, как бы мне удалось принести воды: улица была уже запружена. Со всех сторон нас окружали автомобили. Люди выходили из машин — мужчины без пиджаков — и садились на передние крылья. Мелькнул продавец с пышной связкой воздушных шаров.

— Хочешь шарик? — спросила я у Минди.

— Да ты что, Шарлотта? — сказал Джейк. — Ничего умнее придумать не можешь?

— Но я же… Селинда была бы так рада…

Это была ложь. Селинда тоже не обрадовалась бы воздушному шару. По правде говоря, мне было жаль их обоих — и Джейка, и Минди, — не знаю, кого больше. Терпеть не могу, когда мне неясно, кто прав, а кто виноват. Процокала запряженная в телегу с пивными бочками упряжка ломовых лошадей, и я смотрела, как они переступают мохнатыми ногами на своем долгом, несущем покой пути. Лошади оставили на дороге большие, как ульи, кучи навоза. Я с удовольствием заметила это. Иногда такие мелочи могут завести тебя, словно серпантин, далеко-далеко в гору…

Потом появилась шеренга девушек-тамбурмажоров; рядом семенила какая-то крикливо одетая дама с ридикюлем в руках.

— Осторожно, девочки! — выкрикивала она

— Впереди куча!

Можно было подумать, девчонки ничего не видят из-под козырьков своих шляпок, но они ловко, обходили навозные кучи. Солдаты были смелее и топали напрямик. Рядом с ними маршировал чернокожий мальчуган, вместо ружья он вскинул на плечо большой костыль, весело размахивал свободной рукой и, глядя на своих друзей, смеялся и вращал глазами. Никогда в жизни не встречала я такого довольного собой человека.

— Куда же девалась твоя косметическая салфетка? — спросил Джейк.

— Вот, возьмите другую, — сказала я.

— Минди, Минди, посмотри-ка, вон на большом помосте везут королеву красоты. Реклама сосисок фирмы «Топ-тач». Я ел эти сосиски.

Минди икнула, но головы не подняла. Джейк посмотрел на меня:

— Ну, что же мне делать?

— Хм-м…

— Ты должна знать, как поступают в таких случаях.

— Да это же День основания города, — сказала я.

— Что?

Я показала пальцем на маленькую старушку в мини-юбке. У нее были длинные золотистые волосы, а в руках — плакат. «День основания 1876–1976» было написано на плакате, а под этим — нарисованные карандашом лица четырех мужчин, чьи рты не раз стирали резинкой: СТО ЛЕТ ПРОГРЕССА.

— Так я и знал, это не обычный праздник, — сказал Джейк. — Господи. Ты только глянь на ее прическу. Думаешь, это настоящие волосы?

— Да нет. Парик, конечно. Нейлон или что-нибудь в этом роде, — сказала я.

— А может, динел. Как у моей сестры. Динел. Минди подняла голову, вытирая лицо тыльными сторонами ладоней. По щекам грязными серыми потеками расползлась тушь, и глаза стали как у енота.

— Минди! — позвал Джейк. — Хочешь конфетку? Или жвачку? — Она покачала головой, — Кажется, у нас еще осталась хрустящая кукуруза.

— Не хочу я твоей тухлой кукурузы, Джейк Симмс. Я хочу лечь и умереть.

— Ну зачем ты так? Я ведь стараюсь изо всех сил. Хочешь, покажу фокус? Я умею показывать фокусы. — Он обернулся ко мне. — Спорим, ты об этом не знала?

— Кажется, вы упоминали об этом, — сказала я, глядя на разукрашенный помост, на котором стояли полные мужчины в фесках.

— Правда, Минди, я это здорово делаю? Скажи ей.

Минди что-то пробормотала, обращаясь к баранке руля.

— Что ты сказала, Минди? Говори громче, я не слышу.

Минди подняла подбородок.

— Он делает так, что вещи исчезают, — сказала она, не отрывая глаз от ветрового стекла.

— Точно, — сказал Джейк.

— Вещи просто исчезают. Растворяются в воздухе. Его герой — Гудини[4].

— Сейчас у меня под рукой нет реквизита. Но все равно, Минди, назови любой фокус, и я постараюсь его показать. Честно. Помнишь, как тебе нравились фокусы?

Она не ответила. Джейк посмотрел на меня. От жары в машине лицо его стало влажным, волосы свились в тугие кольца.

— Раньше она очень любила фокусы, — сказал он.

---

**[4] Примечания: 4**
Гарри Гудини (1874–1926) — знаменитый американский фокусник.

— А теперь разлюбила! — сказала Минди.

— Не пойму, какая муха ее укусила.

Наконец фески исчезли, и показался школьный духовой оркестр. Все захлопали и замахали руками. Но где-то впереди, наверное получился затор. Оркестранты остановились, продолжая играть. Они закончили исполнение очередного номера и теперь стояли молча, глядя перед собой. Видно было даже, как на висках у них пульсируют жилки. Видна была серебряная цепочка, которая связывала музыканта с его флейтой-пикколо, и я вдруг представила себе забавную картинку, несчастный случай, после которого придумали эту предосторожность. Я рассмеялась — и смех громко прозвучал на притихшей улице. К этому времени аплодисменты стихли. Оркестранты и публика словно сговорились; каждый делал вид, будто другого не существует. Но в шествие снова двинулось вперед, аплодисменты возобновились: как по команде, публику захлестнула новая волна восторга. Оркестранты, зашагали вперед. Их ноги мелькали ровно и размеренно, как ножницы. Жаль, что я не смогу больше за ними наблюдать.

— По-моему, барабан был бы здесь в самый раз, — заметил Джейк, глядя им вслед.

— Просто тебе нравится все, что грохочет и калечит, — сказала Минди.

Мы посмотрели на нее.

— Да, я же хотел показать фокус с бумажником.

— Спасибо, не надо.

— Так куда же девался мой бумажник, черт побери?

— Не надо, — повторила Минди.

— Одолжи мне свой бумажник, Шарлотта, — попросил Джейк.

Я вытащила из сумки бумажник и протянула ему; а сама тем временем смотрела на проезжавший мимо помост: мужчины в белых париках подписывали какую-то обугленную по краям бумагу.

— Внимательно следи за мной, — сказал Джейк, обращаясь к Минди, — Может, поймешь наконец, как это делается. Так вот, берем пустой бумажник, ясно? Заметь, никакого подвоха — ни потайных кармашков, ни секретных отделений… — Я слышала, как он перебирает все отделения бумажника, шуршит полиэтиленовыми прокладками для фотографий, отстегивает кнопку внутреннего кармашка. И вдруг наступила тишина. — Вот это да! — воскликнул Джейк. — Это что такое?

Шарлотта, что это?

Я отвернулась от парада и посмотрела на то, что он держал в руке.

— Аккредитив.

— Аккредитив! Посмотри-ка, Минди, аккредитив на сто долларов! Ура! Мы разбогатели! Почему же ты мне не сказала? — спросил он меня. — Это нечестно.

— Не знаю. Не пришло в голову.

— Не пришло в голову? У тебя при себе сто долларов, и тебе не пришло в голову?

— Этот аккредитив лежит у меня уже целую вечность. Я отложила его с одной-единственной целью. Даже забыла, что его можно потратить на что-то другое.

— На что же ты собиралась его потратить, черт побери? — спросил Джейк.

— На путешествие.

— Шарлотта, — сказал Джейк. — Но мы же путешествуем.

— В самом деле, — согласилась я.

# *Глава 12*

Когда Селинда была маленькая, я всегда старалась говорить ей правду.

Я сказала ей, что, насколько мне известно, если люди умирают, они умирают — и дело с концом. Но однажды возвратившись из молитвенного дома, она спросила:

— Почему это мы с тобой просто умрем, а другие попадут в рай?

— Так оно получается, — ответила я. — Можешь выбирать.

Селинда выбрала рай. И это естественно. Она посещала все сборища, которых я старалась избегать: молитвенные собрания, семейные встречи и тому подобное, Я стала замечать ее отсутствие. Ей исполнилось семь лет, и она превратилась в существо вполне самостоятельное. Она, пожалуй, и всегда была такая, но в семь лет, по-моему, сущность человека раскрывается полностью. Порой мне кажется, что мое собственное семилетнее «я» все еще проглядывает, настороженно, но пытливо, сквозь оболочку взрослого человека.

— Ты будешь хоть изредка навещать меня? —

спросила я Селинду.

— Я живу здесь, — сказала Селинда.

— Ах да, я забыла.

Все эти годы я считала, что не вправе заводить второго ребенка. (Дополнительный груз, который придется брать с собой, когда я буду уходить.) Но потом передумала. Сол, конечно, всегда хотел иметь еще детей. Итак, в январе 1969 года я забеременела. В марте я уже покупала кипы пеленок и фланелевых распашонок. В апреле у меня был выкидыш. Доктор сказал, что повторная беременность противопоказана.

Никто не знал, как я уже любила этого ребенка. Даже моя мама, в сущности так и не испытавшая чувства, с которым женщина ждет ребенка. Исполненная надежды, озадаченная, она суетливо поправляла мне подушки. Мисс Фезер заставляла меня много пить будто я была простужена. Лайнус и Селинда смотрели на меня с испугом, у Джулиана был очередной приступ депрессии: он проиграл на скачках триста долларов.

А Сол сидел возле кровати и держал мои руки в своих. Он смотрел не на меня, а на мои посиневшие ногти. И часами не произносил ни слова. Как он мог молчать? Он же проповедник.

— Только не говори, что на то была воля бо-

жья, — сказала я.

— И не собирался.

— Вот как. — Я была разочаровала. — Воля божья здесь ни при чем. Это биология.

— Пусть будет по-твоему.

— Все зависело от моего организма.

— Пусть будет по-твоему.

Я вглядывалась в его лицо. Две глубокие складки оттягивали вниз уголки рта, складки эти наверняка появились давным-давно. Волосы на макушке поредели, читая, он теперь иногда надевал очки. Ему было тридцать два года, но выглядел он на все сорок пять. По чему же это? Может, из-за меня? Я расплакалась.

— Сол, — сказала я. — Думаешь, мой организм поступил так сознательно?

— Не понимаю.

— Может, это случилось потому, что ребенок помешал бы мне уйти?

— Уйти? — повторил Сол.

— Уйти от тебя.

— Ну нет, конечно.

— А я все время думаю об этом, понимаешь. Я так боюсь, что… Порой мне кажется, мы так мучаем друг друга. Вечно дергаемся, раздражаемся по пустякам…

И вот иной раз, когда мы едем в пикапе, в этом ржавом, скрипучем пикапе, мама занимает две трети сиденья, а Селинда ерзает у меня на коленях, и я пилю тебя за что-то, не имеющее для меня никакого значения, будто только и жду, когда у тебя наконец лопнет терпение, а тебе все осточертело и ты ушел в себя, — тогда я начинаю думать: «Какая же мы несчастливая семья. Ну а что тут удивительного? Это совершенно естественно. Такова уж моя судьба, я несчастливая, всю жизнь жила в несчастливых семьях. Честно говоря, ничего другого я и не ждала».

Интересно, станет ли Сол спорить? Но он не возражал. Только держал мои руки в своих ладонях и не поднимал головы. Я сразу же пожалела, что сказала ему это, но со мной всегда так: вечно мне хочется, повернуть вспять, начать все сначала. Но это безнадежно. И я продолжала:

— …Так вот, что, если мой организм решил: «К чему затягивать — этот младенец нам ни к чему; ребенок только задержит ее уход на целых семь лет. Единственное, что требуется, — это…»

— Шарлотта, ты никогда не уйдешь от меня, — сказал Сол.

— Послушай, у меня есть аккредитив и пара прочных туфель. Я…

— Но ты же любишь меня. Я знаю, что любишь.

Я посмотрела на него, на большие серьезные глаза, на упрямо сжатые губы. Почему он всегда говорил именно так? И тогда, в мотеле «Голубая луна», тоже. Ведь он должен бы говорить, что это он меня любит, разве нет?

Но он сказал: «Я уверен, что ты меня любишь, Шарлотта».

И еще: почему все это так действовало на меня?

Однажды, недель через шесть, когда я уже была на ногах, Сол появился днем на кухне, держа в одной руке младенца, а в другой — голубой полиэтиленовый мешок с пеленками. Это было как гром среди ясного неба. Младенец оказался крупный, он прожил на свете уже несколько месяцев. Круглолицый, плотный мальчуган с упрямой, серьезной мордашкой.

— Вот, — Сол протянул его мне.

— Что это? — спросила я, но мальчика не взяла.

— Младенец, что же еще.

— Мне нельзя поднимать тяжести, — сказала я, но не отступила.

Сол слегка приподнял малыша. Он любил де-

тей, но так и не научился правильно их держать — распашонка собралась у мальчика под мышками, и он неловко наклонился вбок, насупившись из-под светлых пряден волос, словно пухленький белокурый Наполеон.

— Ну, возьми же его. Не такой уж он тяжелый, — сказал Сол.

— Но я… у меня холодные руки.

— Знаешь что, Шарлотта? Оставим его ненадолго у себя.

— Но, Сол… — начала я и умолкла. Думаете, я не ожидала этого? Ничто меня больше не удивляло. Все казалось проходящим, и события проплывали мимо, точно водоросли, едва коснувшись моей щеки. Я отчетливо видела их издалека: как они приближаются, а потом снова исчезают. — Благодарю за заботу, но это невозможно. — Я принялась невозмутимо расставлять тарелки.

— У него нет отца, Шарлотта, мать сбежала и оставила его на руках у бабушки, а сегодня утром бабушку нашли мертвой. Я подумал, ты захочешь его взять.

— А потом вернется его родная мать; мы можем потерять его в любую минуту, — сказала я и стала складывать салфетки.

— В любую минуту мы можем потерять кого

угодно. Даже Селинду.

— Ты знаешь, о чем я говорю, — сказала я. — Он не принадлежит нам.

— Никто не принадлежит нам, — отозвался Сол.

Наконец я сложила, последнюю салфетку, согрела под передником руки и вернулась к Солу. Утешало сознание, что выбора нет. Все уже было решено за меня. Даже ребенок и тот, казалось, чувствовал это: подавшись вперед, словно ожидая меня все это время, он камнем упал в мои протянутые руки.

Мы назвали его Джиггз. Его настоящее имя было одним из тех глупых имен, какие дают своим детям белые бедняки; я старалась никогда его не вспоминать, имя Джиггз куда больше подходило к его коренастому сложению. И к толстым очкам в прозрачной оправе, которые ему вскоре пришлось надеть. И потом, это имя ни к чему не обязывало. С таким же успехом я могла назвать его Пупсик или Малыш. Годилось любое имя, лишь бы оно указывало, с какой легкостью я верну мальчугана, когда за ним явится его родная мать.

Когда я работала в студил, мы усаживали Джиггза среди груды кубиков, Лайнус строил для

него непрочные города, Селинда рисовала ему лошадей цветными карандашами. А я, передвигая светильники, беспрестанно разговаривала с ним.

— Это ваш? — спрашивал какой-нибудь клиент.

— Да нет, это Джиггз, — отвечала я.

— А-а.

И я фотографировала их вежливые озадаченные лица.

Я занималась фотографией только потому, что клиенты все еще заходили к нам. Фотографировала от случая к случаю. С годами я стала отказываться от формальной отцовской композиции. Постепенно ее стал вытеснять случайный реквизит: цветы, шпаги, ракетки для игры в настольный теннис, груды старья из наследия Альберты. Входя в студню, человек подбирал какую-нибудь случайную вещь и уже не выпускал ее из рук. Он садился перед объективом, рассеянно держа ее, а я сплошь и рядом не обращала на это внимания. Я была не из числа разговорчивых, располагающих к себе фотографов. Мое внимание было поглощено определением экспозиции, борьбой с фотокамерой, которая с годами становилась все капризнее. Ее мех*и* со всех сторон были зала-

таны маленькими квадратиками изоляционной ленты. Темная накидка так обветшала и пропылилась, что всякий раз, набрасывая ее на голову, я начинала безудержно чихать. И нередко лишь после того, как снимок был проявлен и отпечатан, я впервые видела, что же я сняла.

— Чудн***о***, — говорила я Лайнусу. — Посмотри… но же это такое?

Лайнус сажал ребенка на пол, и мы вдвоем принимались изучать мое творение: какая-нибудь старшеклассница — в Альбертиной шали в блестках, с ниткой деревянных бус на шее, с султаном из павлиньих перьев в руках — дарила нас изумленной, гордой и прекрасной улыбкой, словно понимала, что поразит нас.

Осенью 1972 года умерла Альберта. Мы получили телеграмму от ее свекра: ВАША МАТЬ СКОНЧАЛАСЬ ИНФАРКТА ПОХОРОНЫ СРЕДУ 10 УТРА. Прочтя телеграмму, Сол помрачнел, но не сказал ни слова. Потом позвал Лайнуса и Джулиана на террасу, и они совещались за закрытыми дверями. Я слонялась неподалеку, накручивая на палец пряди волос. Когда дело касается серьезных вещей, они, по-моему; вовсе не считают меня членом своей семьи. А я-то думала что прорвалась в их круг, нашла себе приют под крылом Альберты,

но, выходит, братья Эмори остались такими же замкнутыми, как и прежде, а Альберта взяла и умерла. Подсознательно я, видимо, все это время ждала, что она вернется. Мне хотелось услышать от нее слово одобрения; она была куда смелее, свободнее, сильнее, чем оказалась я. За эти годы у меня накопилось столько всего, что я надеялась с ней обсудить. Теперь все это словно потеряло смысл, и обо всем окружающем, даже о детях, я думала с какой-то холодной неприязнью.

Я разыскала маму, она вязала перед телевизором.

— Альберта умерла, — сказала я.

— О господи, — вздохнула мама, продолжая усердно вязать. Но она же никогда не была высокого мнения об Альберте. — Мужчины, наверное, поедут на похороны.

Но, как выяснилось, они не едут. Именно об этом они и совещались. Сол сказал братьям, что он на похороны не поедет и считает, что им тоже не следует ехать, но решать каждый должен за себя. Они обсудили все со всех сторон. Вот во что они превратились: восхитительно бессовестные, уже стареющие и лысеющие сыновья, терзаемые жалкими, мелкими слабостями! За годы без нес они поблекли. Выходит, люди — всего

лишь отражения в глазах других. Без Альберты ее дом развалился, исчез, а от вещей ее несло затхлостью. (Однажды она сказала мне, что все Эмори гибли из-за лошадей, лошади приносили им смерть. Но за время ее отсутствия выяснилось, что из-за лошади погиб только какой-то один дальний родственник. Остальные тихо умирали дома в своих постелях — незавидная смерть, которой они бы не знали, будь рядом с ними Альберта).

Джулиан сказал, что он тоже не поедет. Оставался Лайнус, единственный, кто, наверное, хотел бы поехать, но все знали, что против братьев он не пойдет. (Лайнус носил бороду, потому что никогда не брился; с тех пор как появились первые ее признаки, он ни разу не побрился. Вот так он сопротивлялся судьбе).

— Я останусь дома и помолюсь за нее, — сказал Лайнус Солу.

— Дело твое, — сказал Сол.

Обо всем этом я узнала, конечно, от Лайнуса. Сол ни словечка мне не сказал. Потом Лайнус сидел на кухне зачищая наждачной бумагой кусочек дерева размером с почтовую марку. Вот уже несколько лет он мастерил мебель для кукольного домика. Не знаю, почему он этим занимался. И

вдруг он сказал:

— По-моему, он должен был простить ее.

— Что?

— Сол должен был простить нашу мать.

— Ну ладно, пусть у него останется хоть один грех.

— На веранде он сказал: «Самое смешное, что эти слабоумный, старик все-таки ее пережил». Это он про деда, а потом по-настоящему рассмеялся. Запрокинул голову и громко, рассмеялся. Ну, что ты на это скажешь?

— Ничего. И не подумаю. Оставь его в покое.

Лайнус сдул с дощечки древесную пыль, вытер лоб жилистой загорелой рукой, и умолк. Он привык, что я защищала его, а не Сола. Ему в голову не приходило, как часто я задавала себе тот же самый вопрос, думая о Соле: ну, что ты на это скажешь?

Сол превратился в черно-белого человека. На кафедре — широкое черное облачение с белым воротником-стойкой, в остальное время — дешевый черный костюм и белая рубашка. Часто, покупая продукты или гуляя с детьми, я издали видела, как он шагает по городу, спешит по какому-нибудь немыслимому, насущно важному делу: пиджак расстегнут, пузырем вздувается на

спине, манжеты брюк хлопают по ногам, галстук болтается, длинные, спутанные пряди волос падают на воротник. Всегда при нем Библия, а лицо сосредоточенное, напряженное, словно какая-то мысль гложет его. Чаще всего он даже не замечал нас.

Может быть, он был просто фанатичным проповедником, решившим обратить весь мир в свою веру?

Но иногда, читая проповедь, он начинал запинаться и умолкал, казалось осмысливая только что произнесенные слова. Тогда и я задумывалась, пытаясь постичь, какую же истину он хотел до нас донести. Иногда, гневно обрушиваясь на старые как мир пороки, он обрывал фразу на полуслове, сникал и, качая головой, уходил с кафедры, забыв благословить прихожан. И растерянная немногочисленная паства ерзала на скамьях, а я сидела, крепко сжимая в руках перчатки. Побежать за ним следом? Оставить в покое? В душе его словно со скрежетом сдвигались с места плиты фундамента. У меня внутри тоже терлись друг о друга, укладываясь по-новому, неотесанные глыбы.

По ночам я часто просыпалась, будто от толчка, прижималась лицом к его влажной волосатой

груди. Даже стук его сердца казался мне приглушенным и таинственным. Я никогда не могла представить себе, что же ему снится.

Однажды весной 1974 года я суетилась на кухне, подавала завтрак человеку со Скамьи Кающихся. Доктору Сиску. При этом я пыталась поторопить Джиггза: ему пора было в детский сад, — а он все еще сидел голышом, в одном носке. Под ногами у меня путалась эта несносная собака, которую Селинда привела домой со скаутского сбора. Короче говоря, утро было у меня не самое тихое, и я не сразу заметила человека в дверях. Он был похож на того Сола, за которого я вышла замуж. Стоял, прислонившись к косяку: лицо более спокойное, чем у Сола, никаких морщин у рта, на макушке чуть больше волос, и при этом он куда раскованней, не такой озабоченный. На нем были потрепанные выцветшие джинсы, на плече — армейский рюкзак. Он смотрел на меня с задумчивой снисходительной улыбкой, которой я давно уже не видела на лице Сола. Признаться, когда он заговорил, я не очень и удивилась. У меня даже нашлось этому объяснение (просто-напросто провал во времени, нечего волноваться).

— Я постучал, но никто не ответил, — сказал он.

Голос был другой, у Сола такого никогда не было, совсем другой тембр.

— Эймос! — воскликнула я.

— Как дела, Шарлотта?

Он выпрямился и подошел ко мне, протягивая руку. Я уже так привыкла, что в наш дом кто только не забредает, мне в голову не пришло спросить, что привело его к нам. (Честно говоря, я ждала его так много лет. Не понимала, что его задерживало.) Но Эймос, кажется, считал, что требуется объяснение:

— Я узнал, что в средней школе Клариона ищут учителя музыки, и решил подать заявление. Пожалуй, надо было написать тебе заранее, но я не любитель писать письма.

За годы нашей с Солом супружеской жизни он прислал нам писем пятнадцать, если можно назвать письмами красивую поздравительную открытку по случаю нашего бракосочетания и штук четырнадцать бланков-извещений о перемене адреса, которые можно бесплатно подучить на почте. Все это-вполне в духе семейства Эмори.

— Неважно, — сказала я. — Садись завтракать. Знакомься: Джиттз, а это — доктор Сиск.

Джиггз — как был в одном носке, — встал и поздоровался. Малыш всегда держался с достоин-

ством, даже голышом, и в своих толстых очках походил на маленького доброго старичка. Я так гордилась им в эту минуту. Эймос с удивлением посмотрел на мальчика:

— Джиггз?

Доктор Сиск тоже поднялся, качнув стол, на котором стояла яичница, и протянул Эймосу сморщенную веснушчатую руку.

— Артур Сиск, — сказал он, — Со Скамьи Кающихся.

— Кающихся… — выжидательно повторил Эймос.

— Хотел покончить жизнь самоубийством. И тогда проповедник предложил мне другой выход.

— Возьмите еще яичницы, — сказала я доктору Сиску.

— Спасибо, милая. Пока достаточно. Может, возьму потом, — сказал он и повернулся к Эймосу. — Жизнь совсем меня придавила, измочалила. Удручающее однообразие! По профессии я терапевт. Все эти простуженные младенцы, обмазанные камфарной мазью. Приложишь фонендоскоп — так и липнет к этой мази. И я стал думать о самоубийстве.

— Да что вы говорите! — сказал Эймос.

— Но проповедник отвел мою руку. Предложил мне вручить мою жизнь Христу. В общем, эта идея мне понравилась. Так просто — взять и вручить свою жизнь. Не правда ли, дорогая? — обернулся он ко мне.

— Но при этом, — сказала я, — у вас еще остаются подоходный налог, необходимость возобновлять патент…

— Простите, что вы сказали?

— …банковские счета, визиты к зубному врачу, направленные вам по ошибке векселя, — продолжала я. — Если бы все это было так просто, неужели я и сама давно не вручила бы кому-нибудь свою жизнь?

Доктор Сиск сел и стал теребить кончик носа.

— Возьми яичницы, — сказала я Эймосу.

— Что? — спросил он. — Да нет… я…

— Сол пошел в больницу навестить кого-то, скоро вернется.

— Разве… Странная история… А я думал, у вас дочь, — сказал Эймос. Он ухватил рукой прядь волос. — Разве вы не присылали мне открытку с извещением о рождении дочери? Катерины.

— О да, это Селинда. Она уже ушла в школу.

— Селинда?

— А это Джиггз.

— Понятно. Джиггз, — сказал Эймос. Он оставил волосы в покое, но выглядел все же озадаченным.

Теперь Джнггз, кажется, решил, что надо снова подняться, к встал, блеснув белыми, захватанными лупами очков.

— Прошу тебя. Джиггз, — сказала я. — Через пятнадцать минут тебе надо уходить. Хочешь кофе, Эймос?

— Нет, спасибо. Я завтракал в Холгите.

— Тогда пойдем в гостиную. — На ходу развязывая фартук, я провела его по коридору. — Извини за беспорядок. Время раннее, я еще не успела убрать в доме.

Вокруг действительно царил беспорядок, и не тот, который исчезает при обычной уборке. Иной раз гость помогает заметить, что творится у тебя в доме. Я, например, даже не представляла, какую уйму кукольной мебели смастерил Лайнус за последние несколько лет. Находились покупатели, предлагавшие ему бешеные деньги, но он отказывался ее продавать. Говорил, что делает все это для меня. И вот теперь на каждом столе стояли другие столики высотой в два дюйма. А также серванты, буфеты и комоды, обитые бархатом диваны и обеденные стулья с сиденьями,

вышитыми по канве.

И на каждой небольшой поверхности стояли еще более крохотные предметы: настольные лампы с абажурами из колпачков от тюбиков зубной пасты, книги, сделанные из кусочков журнальных обложек, крохотные букеты гвоздик в деревянных бусинках. Под письменным столом и под роялем размещались кукольные квартиры. Эймос явно встревожился.

— Это все Лайнус, — объяснила я. — Это он мастерит.

— Ясно, — сказал Эймос. Сел на диван и вытянул ноги. — Ну и как он?..

— Нормально.

— У него больше не случаются эти?…

— Нет, по-моему, он стал вполне уравновешенным. Они с мамой пошли в прачечную.

— А что Джулиан, живет в этих краях?

— Он уже в мастерской, — сказала я.

— В какой мастерской?

— В радиомастерской.

— В отцовской радиомастерской?

— Ты что, с луны свалился? — спросила я. — Разве Сол ничего тебе не писал?

— На рождество присылал мне церковные поздравительные открытки, — сказал Эймос, — с

наставлением не забывать о духовном значении рождества.

— Понятно. Так вот, Джулиан работает в радиомастерской. Сейчас там в основном телевизоры, но мы по-прежнему называем ее радиомастерской. С ним все в порядке. Мы надеемся, что скоро он совсем поправится.

— Вот как. — Эймос побарабанил пальцами по рюкзаку.

— И тогда мы снова станем доверять ему деньги, а пока что клиенты приходят сюда и расплачиваются с мисс Фезер.

— Мисс как?…

— Ну, а ты? — спросила я. — Рассчитываешь получить это место?

— Конечно. Директор написал, что место за мной, если оно мне подходит. Думаю, дело стоящее. Я слишком засиделся, пора сменить обстановку. Я только что порвал со своей девушкой и понял, что мне пора… хотя не совсем уверен, что смогу снова жить в Кларионе. Лучше б эта школа оказалась в другом городе…

— А чем плох Кларион? — сказала я (сама не знаю почему).

— Не спорю, Кларион — город вполне приличный, — согласился Эймос. — Я не собирался его

хаять.

Он заложил большие пальцы за пояс и откинул назад голову, давая понять, что разговор окончен. Я вспомнила, что Эймос — тот самый брат из семейства Эмори, который постоянно убегал. Может, эта привычка осталась у него до сих пор? Слабости в этой семье распределялись по одной на человека, их можно было подавить, но не истребить, они попросту переходили от одного к другому. Хотя бы к Джулиану. Джулиан коллекционировал слабости, как монеты или почтовые марки. Давняя слабость Сола к девушкам перешла теперь к Джулиану, так же как и подверженность Лайнуса нервным расстройствам. Все мы были очень привязаны к Джулиану, и это не удивительно. Мы любили его темные усталые глаза, измученное красивое лицо. И если бы он перенял привычку Эймоса убегать из дому, нам это не сулило бы ничего доброго.

— Ты все еще перебегаешь с места на место, Эймос? — спросила я. Вопрос, судя по всему, застиг его врасплох.

— Что? — спросил он. — Ну конечно, нет, с чего это ты вдруг заговорила об этом? Ничего подобного.

— Куда же делась эта привычка?

— Что?

Но прежде чем я успела объяснить, в дверях, по обыкновению пригнувшись, появился Сол.

— Эймос? — проговорил он, останавливаясь на пороге.

— Привет, Сол! — сказал Эймос, вставая.

— Долго мы тебя ждали. — Сол положил руку ему на плечо. Улыбаясь, я смотрела на них, а сама с удивлением думала: почему Эймос выглядит так молодо, ведь он же самый старший из братьев Эмори?

Теперь они снова в сборе — все четверо, под одной крышей. Занятия у Эймоса начинались только осенью, так что пока он помогал в мастерской. К тому же он настроил наш старый рояль и ежедневно упражнялся. Я не переставала удивляться, что Эймос стал музыкантом. Кое-как окончив школу, он окунулся в музыку, как утка в воду, и успешно окончил Балтиморское музыкальное училище Пибоди. Эймос Эмори! Он сидел, склонясь над желтозубым роялем, и играл Шопена, осторожно расставив ноги в мокасинах среди кукольной мебели, локти он прижимал к бокам, словно боялся повредить клавиши своими огромными руками. Клок черных волос падал ему на лоб.

— Такого ужасного инструмента я еще не встречал, — говорил он мне, но продолжал извлекать из него тусклые, дребезжащие, стародавние звуки.

К сожалению, я не люблю рояль. Что-то меня в нем раздражает. А вот мама любила слушать его игру; по ее словам, она сама когда-то увлекалась музыкой. Селинда тоже нередко останавливалась по дороге куда-нибудь и стоя в дверях, слушала его игру. В то лето ей исполнилось тринадцать, и она неожиданно расцвела и похорошела. Выгоревшие на солнце белокурые волосы, чуть рыжеватые топкие брови, едва заметные веснушки. Следом за ней обычно появлялся Джиггз; едва заслышав звуки рояля, он стремительно прибегал откуда угодно. Он уговорил Эймоса давать ему уроки музыки и часами упражнялся за роялем; склонившись над клавиатурой, он дышал ртом, отчего очки его запотевали. Всякий раз, проходя через гостиную, и улыбалась, глядя на его пушистый затылок, и повторяла свое извечное злобное заклинание: пусть его мать сгниет навеки, больше мне ничего не надо.

Теперь за обедом передо мной сидели все братья Эмори (не говоря о докторе Сиске, который вечно совался повсюду). — четыре вариации на

одну тему, четыре больших серьезных лица: Сол в черном, Джулиан в яркой водолазке, Лайнус в чем-нибудь измятом и неприметном, Эймос в истрепанном джинсовом костюме, похожий на беспечного добродушного бродягу. Он и в самом деле был беспечным, в самом дело был добродушным. Но почему же он так меня раздражал?

Он замучил меня бесконечными вопросами. Что я думаю о молитвенном доме, почему у нас столько мебели, как я терплю в своем доме такое количество посторонних.

— Каких посторонних? — спросила я.

— Ну, мисс Фезер, доктора Сиска…

— Мисс Фезер живет с нами почти столько же, сколько Селинда. Какая же она посторонняя?

— А почему у Сола такой вид?

— Не понимаю, о чем ты говоришь.

— Он такой… загнанный, измученный. У вас все в порядке?

— Конечно, в порядке. Не задавай глупых вопросов.

Некоторое время он разглядывал потолок.

— Быть женой проповедника, наверно, не так-то просто, — сказал он наконец.

— Почему ты так думаешь?

— Он всегда такой… ну, праведный. Верно?

Я испытующе посмотрела на него.

— И ему тоже нелегко быть твоим мужем. Солинда говорит, ты не веришь в бога. Разве это его не пугает?

— Пугает? Это раздражает его, — сказала я.

— Нет, пугает. Конечно, пугает — видеть, как ты плывешь по течению, без веры, такая способная, ваша… отчужденность, ты готовишь еду, а он приводит в дом грешников, которые поглощают ее. Разве я не прав? Ему постоянно приходится бороться с мыслями, на которые ты наталкиваешь его.

— Ничего подобного! Я не вмешиваюсь в его образ мыслей. Нарочно держусь в стороне.

— А он все равно борется. — Эймос ухмыльнулся, — С сатаной в своей душе. — Потом посерьезнел и добавил: — Не понимаю женатых людей.

— Видно, что не понимаешь, — сухо сказала я.

— Как они ухитряются жить, оставаясь все время вместе? Хотя это, конечно, замечательно.

Он хотел сказать, что это, может, и замечательно, но сам он от этого не в восторге. Признаться, я тоже не была от него в восторге. Меня раздражала развязность, с которой он расхаживал по комнате, рассматривая шкафчики размером не больше спичечного коробка. Столкнувшись с

презрением Эймоса, я ощутила в себе перемену: я стала преданной семье, упрямой. Забыла о своем намерении отправиться в путешествие. Затея эта казалась мне теперь бессмысленной: куда бы я ни уехала, мне не выкинуть из головы Сола с его Библией.

— Ты не понимаешь главного, — сказала я Эймосу.

— Наверно, не понимаю, — только и ответил он и тут же перевел разговор на другое: — Чья это собака?

— Селинды.

— Ну и зверь.

Эрнест и вправду не представлял собою ничего особенного. Обыкновенная дворняга — огромный черный пес, начинающий седеть, с длинной свалявшейся шерстью и косматой головой. Когда Эрнест размахивал хвостом, все вокруг падало и разбивалось. Из-за какого-то нарушения слуха всякий раз, как мы окликали Эймоса или Лайиуса, ему казалось, что зовут его; задыхаясь, он врывался в комнату, из пасти у него несло рыбой, он наталкивался на окружающие предметы и драл когтями пол. К тому же он был очень привязан ко мне. Стоило мне уйти, как от волнения он тут же пускал лужу. Да, Эрнест был далек от

совершенства.

И все же Эймос не имел права вмешиваться.

— Скажи, — как-то спросила я его, — есть в нашем доме хоть что-то, что тебе по вкусу? Может, выбросить все на помойку и начать сначала?

Эймос поднял руку, немного отступил и сказал:

— Ну ладно, ладно. Ничего подобного у меня и в мыслях не было.

Он улыбнулся своей застенчивой, милой улыбкой бродяги и, глядя из-под лохматых бровей, опустил голову. Мне вдруг стало жаль его. Просто все здесь ему было внове, только и всего. Он ушел из дому раньше братьев, уезжал дальше, забыл больше. Забыл, что в каждой семье по-своему притираются и приспосабливаются друг к другу. Вот Лайнус, например, помнил себя с грудного возраста (он говорил: ощущение от соска Альберты — будто у тебя полный рот жатого ситца), а Эймос терпеть не мог всяких воспоминаний, так прямо и заявил. Не любил он своего детства; по его словам, мать у них была неугомонная, горластая, бешеная, она управляла их жизнями, навязывала им свою волю, вмешивалась в их мысли, требовала неиссякаемого потока восхищения и веселья; когда она врывалась в комнаты

к сыновьям, они вздрагивали. Она обжигала их горячим дыханием, смеялась резким смехом. Требовала веселья! Танцев! Жизни! И если получала чуть меньше того, что ей требовалось (а ей всегда всего было мало), становилась насмешливой, надменной. Язык у нее был как бритва. Детей раздражали кричащие цвета ее одежды, ее кожа, ее волосы. Они ненавидели ее. Желали ей смерти.

— Альберте?

— Чему ты удивляешься? — спросил Эймос. — Разве мы похожи на четырех нормальных, счастливых мужчин? Ты никогда не задумывалась над этим? Трое остальных не способны даже удрать из Клариона, да и сам я ничуть не лучше, прыгаю, как лягушка на сковородке, бегаю с места на место, не могу досидеть даже до конца учебного года, бросаю всех, кто сходится со мной. Трое из нас так и не женились, четвертый выбрал себе жену, которая не станет лезть к нему в душу. — Я посмотрела на него в упор. — Разве не так? Ты же понятия не имеешь, о чем он думает, и никогда не спросишь об этом. А если бы знала, тебя не удивило бы все, что я сейчас сказал. Сол ненавидит Альберту больше, чем любой из нас.

— Но… Нет, это только из-за…

Я не хотела называть вещи своими именами.

— Думаешь, из-за деда? — спросил Эймос, — Да ты что! Один, случай не может вызвать такого чувства. — Понадобились годы и годы, чтоб Сол так ожесточился. Она измотала ему душу, и всем нам тоже. И вот теперь он и его братья сидят здесь, в Кларионе, топчутся вокруг ее могилы, перемывают ей кости, пытаются разобраться, что к чему, но это занятие не для меня. Я умываю руки. Я ничего не помню. Забыл все раз и навсегда.

И он действительно улыбнулся мне безмятежными, пустыми глазами человека без прошлого. Да, он в самом деле все забыл. Извратил все на свете. Безнадежно перепутал все факты. Бессмысленно пытаться переубедить его.

Я взяла его с нами в молитвенный дом. Он сидел рядом со мной, в чужом костюме, умытый, покорный. Но даже и здесь он, казалось, задавал свои вопросы. Как только Сол объявил, о чем пойдет речь в проповеди — от Матфея, глава 12, стих 30: «Кто не со мною, тот против меня», — Эймос зашаркал ногами, словно собирался наклониться вперед, поднять руку и крикнуть: «Протестую!» Но ничего такого он, конечно, не сделал. Мне только померещилось. Он сидел, как и все окружающие, переплетя пальцы рук. Не знаю, почему он так меня раздражал.

В эту ночь мне приснился сон: мы с Солом в бледно-зеленой, похожей на аквариум спальне. Вокруг трепетный полумрак. Мы занимаемся любовью, и в кои-то веки никто не скребется в нашу дверь, не взывает несчастным голоском: «Мне скучно», не звонят прихожане — нет вестей о смертях и болезнях. Сол смотрит мне в лицо задумчивым, странно сосредоточенным взглядом, словно есть у него какая-то мысль, которой он хочет со мной поделиться. Новая спальня пришлась мне по вкусу. Потом рядом со мной растянулся бородатый Лайнус и стал покрывать меня мягкими, щекочущими поцелуями, потом явился Джулиан, в том самом костюме, в котором обычно бывал на скачках, и стал медленно раздеваться, снимая с себя одну вещь за другой и не переставая мне улыбаться. Я была окружена любовью, защищена со всех сторон. Из всех братьев Эмори там не было только Эймоса, именно от него они и защищали меня.

# *Глава 13*

Надпись на вывеске гласила: МОТЕЛЬ-УСАДЬБА ПЕРТ. ВОСЕМЬ ДОЛЛАРОВ В СУТКИ. АНТИКВАРИАТ. СОКРОВИЩА, НАЙДЕННЫЕ НА ЧЕРДАКЕ. НОТАРИУС. ЧИСТОКРОВНЫЕ ЩЕНКИ ДАЛМАТСКОЙ ПОРОДЫ. Мы остановились, чтобы прочитать все это. Мне показалось, сумерки подкрались быстрое обычного. Они застигли нас врасплох, словно кто-то неожиданно подошел сзади и закрыл нам глаза прохладными ладонями. Но слова на вывеске читались легко: они были составлены из белых съемных букв на червой фоне, как в кафетериях, где часто меняют меню. За вывеской стояло неприметное здание, большую часть которого занимала веранда; на, одном из столбов — светящиеся буквы: КОНТОРА. За домом тянулась цепочка небольших коттеджей, каждый не больше курятника, поблекшего цвета, будто сначала что-то нарисовали мелом, а потом стерли.

— Сначала проверим, нет ли поблизости мамаши Оливера, — сказал Джейк.

— Зачем? — спросила Минди.

— Она меня терпеть не может.

— Тогда зачем мы приехали, Джейк?

— Видишь ли, у меня есть кое-какая надежда на Оливера, — сказал он.

Мои мокасины при каждом шаге скрипели по гравию, босоножки Минди тоже. Джейк сердито посмотрел на нас и жестом велел остановиться. Дальше он пошел один в своих бесшумных кедах. Мы замерли на месте, предчувствуя недоброе; в густеющих сумерках Минди походила на невесомые, светящийся воздушный шар. Я то ли устала, то ли проголодалась (оцепенела и уже не могла разобраться, что со мною происходит), и все окружающее казалось мне нереальным. Бледная рука Минди, прижатая к ноющей пояснице, могла быть также и моей собственной рукой. Джейк крался вверх по ступенькам, чтобы заглянуть в затянутую металлической сеткой дверь, и вместе с ним я затаила дыхание.

— Лезет головой в петлю, — сказала Минди.

Джейк резко махнул рукой, приказывая ей молчать.

— Вечно прет на рожон. Смотрите, — продолжала она.

Но не тут-то было. Джейк качнул головой и пошел назад, слегка подпрыгивая на затекших от

долгого стояния ногах.

— Точно, это миссис Джеймисон, — сказал он, — У-у, каракатица. Стоит за конторкой и ждет, кого бы облаять.

— Может, она тебя не узнает, — сказала Минди.

— Ты что, смеешься? Она каждую ночь перед сном молится, чтоб я свернул себе шею. Посидим здесь, подождем.

Он кивнул в сторону деревянной скамьи на краю участка. Мы сели, Минди — посередине. Был один из тех мягких вечеров с легким ветерком, когда в человеке просыпается надежда. Мы сидели, как зрители в кино, но только и видели что запыленный магазин мужской одежды через дорогу да редкие машины. Джейк то и дело поворачивался к двери конторы — узкому прямоугольнику света.

— А что, если она так и останется там на всю ночь? — спросила Минди.

— Тогда переночуем где-нибудь еще и вернемся сюда завтра. Разменяем Шарлоттин аккредитив и снимем комнату.

— Ой, Джейк, не могу больше. Неужели нельзя зайти и не обращать внимания на ее слова?

— Ни за что не появлюсь перед этой бабой, —

твердил Джейк, — Боюсь ее до смерти.

Мне стало смешно. Я рассмеялась, но под свирепым взглядом Джейка тут же замолчала.

— Что же вы не ткнете ей в бок пистолет? — сказала я.

Ох, оказывается, устала я больше, чем думала. Джейк втянул голову в плечи.

— Пистолет? — переспросила Минди.

— Мадам не в себе. — Рука его лежала на спинке скамьи, и он стал поглаживать Минди по плечу, будто успокаивал кошку. — Честно говоря, мать Оливера всегда терпеть меня не могла, — продолжал он. — Считает меня причиной всех бед на свете. Думает, все неприятности Оливера из-за меня. Но ведь не я подкладывал бомбы в почтовые ящики, в то время я этого парня еще и в глаза не видел. Встретил его только в колонии. Но попробуй втолкуй ей это. Увидит меня — и сразу же думает: «Беда».

— Не она одна так думает, — заметила Минди.

Голоса их звучали отчетливо и безлико, как бывает в сумерках. Их можно было принять за туристов, рассказывающих страшные истории, за прохожих, беседующих под чьим-то окном, за родителей, перекликающихся вдали на лужайке.

— Когда нас выпустили из колонии, — расска-

зывал Джейк, — я, случалось, забегал к нему. Он жил недалеко вместе со своей мамашей, она агент по недвижимости. Как ни зайдешь, он читает, только и делал, что читал. Прокатимся мы с ним куда-нибудь, стрескаем в забегаловке по котлете, знаете, как это бывает. Никогда мы с Оливером не скучали. Конечно, если его матери не было дома. Мать у него зануда, голос скрипучий, пока не ввернет какую-нибудь гадость, не улыбнется. Бывало, скажет: «Никак опять пожаловал, Джек?» Она всегда называла меня Джеком, а какой же я Джек? Такое кого хочешь выведет из себя. «Странно, — говорит, — а я думала, ты только вчера был здесь, значит, я ошиблась?» И все с этакой слащавой улыбочкой. Говорит, а у самой рот набок. Ненавижу таких.

— Но ведь и моя мама к тебе так относилась, — сказала Минди, — У тебя просто талант — выводить людей из себя. Мама так грубила ему, — обратилась она ко мне, — а сейчас делает вид, будто его просто нет в живых, и никогда не упоминает его имени. Я спрашивала, в письмах, не видела ли она его, а она пишет, сколько у них выпало осадков. Он мог бы отправиться на тот свет — она даже не написала бы мне об этом. Для нее он уже давно на том свете.

— Тогда все ясно, — сказал Джейк.

— Что ясно?

— Дело ваше, — сказал Джейк. — Можете презирать меня, что я терпел все выходки этой миссис Джеймисон, но делать было нечего. Нечего — и все тут. Понимаете, именно в ту пору моя мать тоже была не больно высокого мнения обо мне, хотя она, конечно, совсем не такая ведьма. Бледная, сгорбленная, сидит над своим шитьем и голову низко-низко наклонит. Знаете, как они умеют? Чтобы не видеть этого, иду к Оливеру, а там — его мамаша. Выходит, все считали меня ничтожеством, выходит, никак я не мог избавиться от этого клейма.

У меня вдруг вырвался вздох. Минди скрестила ноги, и ее сарафан зашуршал.

— Ну, я и смотался, — продолжал Джейк. — Узнал про одного типа, который готов был хорошо заплатить за перегон машины в Калифорнию. Хотел смыться по-тихому, уехал и ни с кем не попрощался. Не то чтобы я делал из этого секрет, но, когда мне шепнули, что пришло время действовать, мать была в гостях у соседки, и я подумал: «Пока не поздно, надо вырываться на свободу. Ехать немедленно, не могу я здесь больше». Но в Калифорнии меня арестовали за

перегон краденой машины. Правда, за решетку я не попал. Все уладилось. Только возникли кое-какие сложности из-за моих прошлых дел, и домой я вернулся лишь через несколько месяцев, Оливер к тому времени уже переехал во Флориду. Я наводил справки у его соседей: «Да они с матерью несколько недель назад собрали пожитки и переехали в Перт, во Флориду. Его мать говорила, там меньше преступников, народ поприличнее и что ни день — солнце, а случится, пойдет дождь, даром раздают газеты». В то рождество и потом, каждый год на рождество, я получал от Оливера флоридские поздравительные открытки: Санта-Клаус на водных лыжах, и ангелочки срывают с деревьев грейпфруты. «Счастливого рождества, Джейк, надеюсь, у тебя все в порядке». Я старался отвечать ему, хотя, скажу честно, писать письма я не мастер. Сообщал о своих делах, о своей жизни, убивал на это уйму времени. А он только и присылал эти поздравительные открытки. Раз в год, на рождество. Можно подумать, он в тюрьме. Всего одна открытка в год, и та, может, прошла цензуру, наверно, его мамаша и мои письма вскрывала, искала, нет ли там пилки или лезвий. А вообще-то это моя вина. Не должен я был вот так оставлять его с матерью. Почему не зашел тогда к нему

перед отъездом, не предложил ехать вместе? Но у меня уже терпение лопалось, понимаете? Не мог я откладывать отъезд ни на минуту.

Мы смотрели на поток машин, бесцветных в сгустившихся сумерках, на усталые, бледные лица людей…

— Беда вот в чем, — продолжал Джейк. Когда люди о тебе плохо думают, у тебя появляется одно-единственное желание — как можно скорей удрать. Ясно. Говоришь себе: вот если б можно было взять себя в руки, начать все сначала…

— Верно, — согласилась я.

— Я уверен, если человек убегает, значит, он бежит от своего ничтожного «я» или потому, что другие считают его полным ничтожеством. А вообще-то кто его знает, кто его знает… — Он встал, сделал несколько шагов по траве и заглянул в дверь. — Ушла.

— Кто там теперь? — спросила Минди.

— Вроде никого.

Он стоял, выжидая, спиной к нам. Минди одернула сарафан.

— Видите, об ужине он даже не вспоминает, — сказала она мне. — Какое легкомыслие. А у меня низкий сахар в крови.

— Ура! Вон идет какой-то парень, — сказал

Джейк. — Спросим у него. Пошли.

Мы недружно поднялись и зашагали следом за ним. Сначала по дорожке, вверх по ступенькам, по скрипучим половицам веранды. Сквозь оранжевое мерцание лампочки на потолке, ее свет — защита от насекомых, но над головой кружился целый рой мотыльков.

Хотя на улице еще не совсем стемнело, переступив порог, мы зажмурившись. Желтый свет ламп, освещавших комнату, ярко отражался в потрескавшемся линолеуме. За конторкой, уставленной пепельницами, заваленной журналами и туристическими проспектами, стоял бледный долговязый человек с пышными светлыми волосами и штемпелевал конверты. Когда мы вошли, он и головы не поднял. Худая рука размеренно двигалась от конвертов к штемпельной подушечке, словно этот ритм доставлял ему истинное удовольствие.

— Минутку, — сказал он низким, хрипловатым голосом, который казался моложе, чем он сам.

— Я разыскиваю Оливера Джеймисона, — начал Джейк. — Вы его знаете?

Мужчина прервал свое занятие и поднял голову. Глаза у него были не столько голубые, сколько прозрачные, но я видела, как они потемнели.

— Так это ты, Джейк, — проговорил он.

— Что?

— Не узнаешь?

— Оливер?

Казалось, ни тот ни другой не рады встрече. Джейк явно был ошеломлен и растерян, Оливер выглядел озабоченным.

— Тебе не следовало здесь появляться, Джейк. — сказал он.

— Почему?

— Тебя полиция разыскивает. Ты что, не знаешь?

Минди зажала рот рукой. Откуда-то из глубины дома донесся женский голос:

— Кто там, Оли?

— Никого, ма. Он отложил печатку и вышел из-за конторки. — Пошли на улицу.

Теперь, когда он подошел ближе, я разглядела на загорелом лице белые полоски вокруг глаз, уловила чистый запах его линялой клетчатой рубашки. Он был из тех покладистых мужчин с добрым лицом, которые всегда сохраняют спокойствие. Было в нем что-то очень знакомое. А может, просто это помещение, несмотря на конторку, напомнило мне дом, в кресле даже было забыто светло-голубое вязанье. Я вдруг растеря-

лась. Спотыкаясь, пошла следом за ним, Джейк подталкивал меня сзади, через дверь, вниз по ступенькам веранды, в глубину двора, чтобы сумерки укрыли нас. Там мы остановились, Минди протянула руку и ткнула пальцем в локоть Оливера.

— Почему они ищут его? Из-за меня? Но он ни в чем не виноват.

— Это правда? — спросил Оливер, повернувшись к Джейку. — Они приходили вчера. Нашли мой адрес в твоей записной книжке. Сказали, это был единственный адрес, кроме винной лавки. Вот так они разыскали меня, спрашивали, не видел ли я тебя. Я сказал, нет, не видел. И ма, конечно, сказала то же самое, а Клер понятия не имела, о ком они говорят.

— А кто это Клер? — спросил Джейк.

— Моя жена…

— Жена?

— Они сказали, что ты совершил это идиотское… но ты ведь не совершал, а?

— Не знаю. Что-то вроде… — промямлил Джейк. Он засунул руки в карманы и смотрел через дорогу.

— Непонятно… Не вижу смысла. Случилось что-нибудь? Зачем тебе понадобилось грабить

этот паршивый банк из-за такой ерунды? И заложница! Подумать только, брать за… кто ж это с тобой? Кто из них заложница, а кто нет?

— Заложница? — переспросила Минди.

Оливер пристально посмотрел на меня.

— Боже милостивый, Джейк, — сказал он.

Я готова была провалиться сквозь землю.

— Послушай, Оливер, — начал Джейк. — Сейчас я тебе все объясню. Я ничего такого делать не собирался, все получилось как-то само собой. Я жертва импульса, ты же сам говорил. Послушай, вся надежда на тебя. Ты один можешь меня спасти, Оливер. Все, о чем я тебя прошу: можешь приютить нас на одну ночь? Сядь со мной, Оливер, и подумай, как выйти из этого положения, мне одному сейчас никак не разобраться, все так запуталось.

— Извини, — сказал Оливер. — Я бы рад тебе помочь. Но ты же знаешь, ма немедленно вызовет полицию. Не сердись на нее, она старая, запуганная женщина, она так и не пришла в себя после той истории с почтовыми ящиками. А у Клер тяжелая беременность, и я не хочу ее расстраивать. Понимаешь, в каком я положении?

— Да. Конечно, — сказал Джейк.

— Джейк, может, тебе пойти и добровольно

сдаться?

Мы притаились. Над газоном проплыл женский голос:

— Оли!

— Тебя мать зовет, — сказал Джейк.

— Подумай об этом, Джейк.

— Чего ты ждешь? — спросил Джейк. — Через минуту сюда примчится твоя мамуля. Иди, чего ждать, иди занимайся своими делишками.

— Джейк, мне уже двадцать шесть, — сказал Оливер. Ни слова в ответ. Он помолчал, глядя на Джейка, в темноте я не могла разобрать выражения его лица. А потом добавил: — Ну что ж, мне пора, прощайте. — И пошел к дому.

Через минуту дверь с металлической сеткой захлопнулась — этот летний вечерний звук долго-долго дрожал в воздухе. Мы остались во дворе перед домом ни с чем. Мы всё никак не могли оторвать глаз от светящегося золотистого прямоугольника двери, хотя возле нее никого не было.

Потом Минди сказала:

— Просто в голове не укладывается. Ничего не понимаю.

— Замолчи, — оборвал Джейк. — Дай подумать.

Он все тер и тер лоб. Его резко очерченный

профиль казалось, был наспех вырезан из листа черной бумаги Минди наклонилась вперед, чтобы его получше разглядеть.

— Ради бога, Джейк, — взмолилась она, — объясни, что происходит.

— Замолчи, Минди.

— Я же имею право знать.

— Хватит, пошли к машине.

Он направился к дороге. Я не тронулась с места. Джейк молча вернулся, схватил меня за локоть, потащил за собой. Минди шла следом. «Джейк!» — то и дело повторяла она.

Машина, завалившись набок, стояла под уличным фонарем. Я привыкла смотреть на нее из-под прищуренных от солнца век и только теперь увидела то, чего не замечала раньше: во время нашего путешествия мы основательно ее покалечили. Багажник смят, недоставало заднего фонаря, не было и переднего бампера, а сбоку чернели длинные, похожие на стебли травы царапины. Джейк открыл дверцу — бездонная темнота, кошачий запах, гора конфетных оберток и мешочков из-под хрустящего картофеля. С грохотом упала на тротуар и откатилась далеко в сторону пустая банка из-под пепси-колы. Я вырвалась из рук Джейка и отступила назад.

— Влезай, — сказал он. Я помотала головой. — Прошу тебя, Шарлотта, залезай в машину.

— Нет, — сказала я.

— Послушай, вон идут какие-то люди, не выставляй меня чудовищем. И без того тошно, а ты еще… Лезь в машину, веди себя нормально.

— Идиот! Разве можно вести себя нормально, если она, как это называется, твоя заложница? — сказала Минди.

А мне и вправду все казалось вполне нормальным. Я пролезла под рулем на свое старое, знакомое место, положила руки на сумку. Джейк сел рядом. Последней влезла Минди, уперлась в руль животом и захлопнула за собой дверцу. Что ж! Вот мы снова втроем. Никогда в жизни не чувствовала я себя такой скованной и жалкой.

— А теперь дайте подумать, — сказал Джейк.

— Ты подумай вот о чем: меня могут арестовать за пособничество и подстрекательство, — сказала Минди.

— Дашь ты мне спокойно подумать?!

— По твоей милости я могу родить ребенка в тюрьме, а из-за чего, я и понятия не имею.

— Ну хватит, Минди, — перебил Джейк. — На твоем месте каждый бы догадался, что к чему. Почему, по-твоему, дверца машины заперта на

цепь?

— Для автогонок, конечно! Для автородео. Ты всегда запираешь дверцы на цепь, когда участвуешь в гонках.

— Но сейчас-то ведь никакие не гонки, — сказал. Джейк. Потом ткнул пальцем в зажигание. — Включай мотор.

— Куда мы едем?

— Поищем, где можно разменять аккредитив Шарлотты. Банк, который открыт в пятницу вечером.

— Но…

— Ты что, не хочешь со мной ехать?

Минди завела мотор. Мы влились в поток машин. Все они двигались устало, неторопливо — мы словно влились в реку.

— Хочу есть, — объявила Минди.

— Потерпи немного, — сказал Джейк. Он съехал вниз на сиденье, безучастно глядя на проплывающие мимо вывески, — Как это понять? — спросил он у меня. — Этот Оливер такой был мировой парень, в колонии книги читал! Читал! Будто ему ни до чего и дела нет. А теперь взял и женился. Остепенился. Ребенка ждет. Постарел как, я и не узнал его. Но он-то меня сразу узнал. Не так уж я, видно, изменился.

— А мне он понравился, — заметила я.

— Ясное дело, — сказал Джейк. — Жаль беднягу.

— А по-моему, вовсе не плохо ему живется.

— Ты так говоришь потому, что ничего другого тебе не остается, — сказал Джейк. — Шарлотта замужем, — добавил он, обращаясь к Минди.

— Знаю, — отозвалась она.

— Ее муж — проповедник.

Минди затормозила у сигнала «стоп».

— Правильно я говорю? — спросил меня Джейк. — Я кивнула. Глаза мои были прикованы к неоновой рюмке с мартини: она мгновенно пустела и с такой быстротой наполнялась вновь.

— А сама она преподает в воскресной школе. Наставляет Молодежное братство, как сопротивляться соблазнам.

— Вранье, — сказала я.

— Они с мужем никогда не ссорятся, а обо всех своих бедах докладывают в молитвах самому господу богу.

— Ничего подобного, мы все время ссоримся.

— Правда?

— Конечно.

— Из-за чего?

— Не ваше дело, — огрызнулась я.

Как глупо, я готова была расплакаться. Ни с того ни с сего глаза наполнились слезами. Но я, конечно, сделала так, чтобы Джейк этого не увидел. Отвернулась к боковому стеклу. Слезы всегда раздражают меня, поэтому я заговорила громче обычного:

— Мы спорим из-за любого пустяка. Он вечно придирается ко мне. Обвиняет во всех смертных грехах. Говорит, что я… Упрекает в самых идиотских вещах. Однажды утром, например, он собирался в баптистский колледж, и я сказала: «Смотри не останься в дураках». Сказала просто так, без всякой задней мысли. А он запомнил на всю жизнь. Прошло уже пятнадцать лет! Он вечно выискивает какие-то задние мысли, которых у меня и в помине нет. Прошлым летом у них был Возрожденческий съезд, они проводят их каждый год. Разбивают большой шатер на поле, где запускают воздушных змеев. Сол вернулся оттуда мрачный, подавленный: но его словам, он не получил никакого удовольствия, не смог ничего воспринять, слышал, как я комментирую каждое слово проповедника. Но меня же там не было! А если бы и была, я бы ничего подобного себе не позволила. Я стараюсь держаться подальше от… Но Сол сказал: «Я слышал твой голос. Бес-

страстный, невозмутимый голос. Ни одно слово проповеди не дошло до меня. Как мне справиться со всем этим?» Выходит, все дурное идет от меня? В его глазах я — олицетворение зла. Я ему говорю: «Послушай, чтобы быть хорошей женщиной, не обязательно состоять членом прихода „Святая Святых“. Я стараюсь изо всех сил. Разве я виновата, что не верю в бога?» Никогда в него не верила, еще с семи лет, когда мне дали книгу библейских рассказов для детей, про этого завистливого бога, который вечно злобствует, и людям приходится приносить в жертву своих детей, и все всегда оказываются виноватыми. Мне это по поправилось. Понимаешь, не в том дело, что я но верю в бога. Иногда верю, а иногда нет, когда как. Беда вот в чем: не согласна я со всем этим. Но одобряю таких вещей. Лучше отойти в сторону. «Постараюсь прожить без всякой религии, — говорю. — А без веры в бога быть хорошим человеком гораздо трудное. Поставь мне по крайней мере пятерку за усердие»…

— Тогда почему же он так говорил о тебе по телевизору? — спросил Джейк.

Я с трудом оторвалась от своих мыслей.

— Что?

— Он сказал, что ты порядочная женщина.

— А… в самом деле? Не знаю, наверно, он имел в виду, что я никогда бы не ограбила банк.

— Тогда почему он так просто и не сказал, что ты никогда бы не ограбила банк? — возразил Джейк. — Он сказал, ты порядочная женщина.

Я посмотрела на него.

— Может, теперь, после твоего ухода, он смотрит на тебя иначе. Скорее всего, ты с самого начала не разобралась в нем. Может, он взаправду теперь думает, что ты хорошая, и мучается оттого, что ошибался. Тебе это когда-нибудь приходило в голову?

— Пожалуй, нет, — сказала я.

— Ох уж эти женщины! — воскликнул Джейк. — Не понимают самых простых вещей.

Мы ехали молча, по обеим сторонам аллеи фонари мерцали, как двойная нитка ожерелья из драгоценных камней.

# *Глава 14*

Однажды осенним утром 1974 года я готовила Джиггзу какао и, стоя у кухонной раковины думала о своем.

— Мне что-то не по себе, Шарлотта, — сказала мама.

— Что? — Я протянула руку за ложкой.

— Я плохо себя чувствую.

— Может, это грипп?

— Думаю, дело серьезнее.

— Ясно. — Я стала усердно размешивать какао — пузырьки беспрестанно вращались по кругу. Потом сказала: — Да, ах да, врач. Покажем тебя врачу.

— Мне страшно идти к врачу, — сказала мама.

Я отложила ложку, пузырьки еще кружились, но все медленнее, медленнее. Я посмотрела на маму: она сидела на своем садовом стуле, обхватив руками живот. Вид у нее в самом деле был нездоровый. Лицо заострилось, глаза как-то приблизились друг к другу. И плечи опущены. Не поправилось мне это.

— Мама? — окликнула я.

— Что-то нехорошее со мной происходит, Шарлотта, — сказала она.

Я попросила Джулиана отвезти нас на машине к врачу. К вечеру за мамой захлопнулась больничная дверь; на следующий день, в восемь утра, ее прооперировали. Ожидая результата операции, я сидела на кушетке, обитой винилом, который прилипал к ногам. Когда появились доктор Портер и хирург, я вскочила, с трудом отклеившись от кушетки. Первым подошел хирург, его почему-то очень заинтересовал натюрморт, висящий на стене за моей спиной.

— Нам только и оставалось, что снова зашить ее, сказал он, глядя поверх моего плеча.

Мне не понравились эти слова. Сжимая в руках сумочку, я упрямо молчала.

— Других возможностей не было, — сказа доктор Портер. — Весьма сожалею, Шарлотта.

— Ничего, — сказала я.

— Это *cancer*, — пояснил хирург.

— Да, да, — сказала я. — Большое спасибо.

— Скоро можно будет к ней пройти, — добавил доктор Портер. — Вы здесь одна?

— Сейчас приедет Сол.

— Прекрасно. Держите с нами связь.

Я опустилась на кушетку и посмотрела им

вслед. Ходить в туфлях на такой толстой подошве, подумала я, все равно что пробиваться сквозь пески. И тут я увидела Сола; он быстро шагал по коридору, лицо его было отрешенным и просветленным. Он прошел мимо меня, остановился, поднес руку ко лбу и вернулся назад.

— Что такое cancer? — спросила я.

— Рак, — сказал он и сел рядом.

— Ах вот что.

Он раскрыл Библию на том месте, где лежала закладка. Прочитав с полстраницы, он вдруг оторвался от текста и повернулся ко мне. Мы пристально смотрели друг на друга невидящими глазами, как два пассажира у окон встречных поездов.

Когда мама вернулась из больницы, ее спальня стала центром нашего дома. Мама была слишком серьезно больна, вставать уже не могла и ни на минуту не хотела оставаться одна. В ее большой мрачной комнате с выцветшими шелковыми портьерами и кривоногой мебелью Джиггз учил уроки, мисс Фезер делала записи в бухгалтерских книгах, Лайнус мастерил крошечные качели и подвешивал их на карликовые деревца. Мама сидела, опираясь на гору подушек: лежать ей теперь было неудобно. Она даже спала полусидя, вернее,

проводила так ночи напролет, не знаю, спала ли она по-настоящему. Когда бы я ни заходила ночью проведать ее, она сидела, опираясь на подушки, и огни бензоколонки, проникавшие сквозь окно, отражались в ее запавших, настороженных глазах. На ее лице обозначились кости, последние пятьдесят лет погребенные под жиром.

— Когда же я наконец встану? — поначалу спрашивала она.

— Скоро. Скоро, — говорили мы.

Я считала это трусостью, но Сол сказал, надо как можно дольше скрывать от нее правду. Мы даже поспорили из-за этого. (Незримое присутствие смерти выявило все наши разногласия.) Потом однажды она спросила меня.

— Скажи, пожалуйста, когда же я начну поправляться?

Случилось это в воскресенье, светлое, белоснежное декабрьское воскресенье, Сола поблизости не было. Единственным свидетелем нашего разговора был Эймос. Он сидел в кресле и складывал листы нотной бумаги. Я глубоко вздохнула:

— Вряд ли ты поправишься, мама.

Она потеряла интерес к разговору и отвернулась. Потом стала расправлять стеганое одеяло.

— Надеюсь, ты опрыскиваешь мои папоротни-

ки, — сказала она.

— Да, мама.

— Мне приснилось, что кончики листьев засохли.

— Ничего подобного.

— Доктор Портер очень хороший человек, но этот хирург мне сразу не понравился. Как его, доктор Льюис? Или Лумис? Я сразу поняла, что он за птица. Пришел раньше всех, чтобы произвести впечатление, сыплет анекдотами, руки держит в карманах, а сам только и думает, как будет копаться в моих кишках. По-моему, его надо отдать под суд, Шарлотта.

— Мы не можем этого сделать, мама.

— Нет, можем. Я хочу поговорить с моим адвокатом.

— У тебя нет адвоката, — сказала я.

— Вот оно что… — протянула она. — В таком случае…

Она откинулась назад. Мне показалось, разговор ее утомил. Я поднялась:

— Попробуй поспать немного. Пойду готовить ужин. Если тебе что-нибудь понадобится, здесь будет Эймос.

— Мне надо знать, в чем моя проблема.

Я не сразу ее поняла. В чем ее проблема. Откуда

мне было знать. Я не могла разобраться, в чем моя собственная проблема. Но потом она спросила:

— Как называется моя болезнь, Шарлотта?

— Рак, — ответила я.

Она сложила руки на одеяле и замерла. И тут я заметила Эймоса. Он отложил нотную бумагу и уставился на меня. Его сброшенные с ног мокасины валялись под креслом. Я заметила дырку в его носке — надо будет заштопать. Голова работала с удивительной ясностью.

— Не надевай этот носок, пока я его не заштопаю, — сказала я и вышла из комнаты.

После этого какое-то время мама не желала меня видеть, лишь нехотя отвечала, когда я к ней обращалась, выгоняла всех из своей комнаты: мы слишком громко разговариваем, бросаем на пол разорванные конверты, кожуру от мандаринов. Она хотела видеть только Сола, Просила его читать вслух псалмы из большой старой семейной Библии. Все остальное в Библии было ей неинтересно — все эти люди, занятые какими-то делами или отправляющиеся в какие-то города. Сол читал ей вслух до полного изнеможения и приходил вниз бледный, измученный.

— Старался, как мог, — говорил он. Можно было подумать, это его родная мать. Раньше у него

была Альберта, теперь — мама, а я оставалась ни с чем. — Что еще я могу сделать для нее? — спрашивал он.

— Кому это знать, как не тебе, — отвечала я.

Ее спальня нависала над нашими головами, словно огромный серый дирижабль. Мама владела всеми нашими мыслями, ее отсутствие заполняло дом.

Моя фотостудия была теперь открыта допоздна. Удивительно, как много людей хотели фотографироваться в десять, в одиннадцать вечера, если, проходя мимо, видели освещенную студию. Они останавливались у эркера: одинокие подростки, страдающие бессонницей мужчины, домашние хозяйки, идущие за молоком на завтрак. Разглядывали сделанные мною фотографии людей, наряженных в Альбертино барахло, смягченные рассеянным, приглушенным светом, который просачивался в объектив старого отцовского аппарата. Потом заходили в студию и спрашивали:

— Это ваши работы?

— А чьи же? — отвечала я.

— А меня вы могли бы сфотографировать?

— Конечно.

И, пока я заряжала аппарат, они слонялись по студии, брали в руки горностаевую муфту, целлу-

лоидный веер или обшитую галуном треуголку…

Были клиенты, которые фотографировались снова и снова, неделя за неделей, точно на них находил какой-то стих. Взять хотя бы этого паренька Бандо, рабочего с бензоколонки: он являлся первого числа каждого месяца, сразу же после получки. С виду настоящий громила, а на фотографиях, с высвеченными скулами, при бутафорской латунной шпаге деда Эмори, он становился поразительно похож на изысканного принца. Его самого это, однако, нисколько не удивляло. На следующий день он внимательно изучал пробные снимки, по лицу его расплывалась одобрительная улыбка, будто он и не сомневался, что должен выглядеть именно так. Он покупал все свои фотографии и уходил, насвистывая.

Мы все стали меньше спать. Окна нашего дома были нередко освещены до самого рассвета. Будто все начали бояться кроватей. Джулиан мог всю ночь прогулять с какой-нибудь девчонкой, но он был единственный ночной гуляка в нашей семье, а остальные придумывали самые разные поводы, чтобы сидеть в гостиной: кто читал, кто шил, кто играл на рояле, Лайнус вырезал из тонких палочек детского деревянного конструктора ножки

для кукольных кроватей. Иногда даже дети просыпались и придумывали себе безотлагательные дела, чтобы завладеть моим вниманием. Селинде был необходим костюм для школьного карнавала, она забыла сказать мне об этом. А Джиггзу срочно требовалось загадать мне загадку:

— Скажи, мама, быстро, сколько будет три и три?

— Разве это так важно узнать сию минуту?

— Ну, мама, сколько все-таки будет три и три?

— Шесть.

— Не угадала — дырка!

— Поняла, поняла, — говорила я и целовала маленькую впадинку — его переносицу.

Наверху, опираясь на подушки, словно древняя величественная королева, восседала мама и слушала своего чтеца.

Но потом она прогнала его. Однажды во время ужина она так закричала на Сола, что все мы услышали, а через минуту он сошел вниз тяжелой, запинающейся походкой и опустился на свое место во главе стола.

— Она хочет видеть тебя, Шарлотта, — сказал он.

— Что случилось?

— Говорит, она устала.

— Устала от чего?

— Устала, просто устала. Не знаю от чего… Передай мне хлеб, Эймос.

Я поднялась наверх. Мама сидела, опершись о подушки, поджав губы, словно рассерженный ребенок.

— Мама? — позвала я.

— Пожалуйста, причеши меня.

Я взяла с комода головную щетку.

— Невозможно слушать эти псалмы, — сказала она, — Возносят вверх, потом швыряют вниз, а потом снова вверх…

— Найдем для тебя что-нибудь другое.

— Я хочу оставить Селинде свои черепаховые бусы, — продолжала она. — Они подходят к цвету ее глаз. Я умираю.

— Не беспокойся, мама, я передам ей твои бусы, — сказала я.

1975 год мы встретили как врага. Никто из нас не ожидал от него ничего доброго. Несколько пожилых прихожан Сола скончались от гриппа, и очень часто он был вынужден находиться вне дома. Дети росли без моего присмотра. Все свое время я посвящала уходу за мамой. Она не могла найти себе места: ее мучила постоянная тяжесть в желудке. Иногда у нее вдруг появлялось острое

желание съесть что-нибудь, чего в это время года не было в магазинах, или какой-то дорогой деликатес, но, когда я это приносила, оказывалось, у нее уже пропал аппетит, и она молча отворачивалась к стене.

— Убери, забери это, не приставай ко мне.

Таблетки уже перестали действовать, требовались уколы. Их делал доктор Сиск. Ее стали преследовать нелепые страхи, любой пустяк в ее воображении обрастал невероятными подробностями.

— Я слышу какой-то шум на кухне, Шарлотта. Наверняка туда забрался вор. Он съел кусок курицы, который ты оставила для меня.

Или:

— Куда это исчез доктор Сиск? Пойди, пожалуйста, в его комнату, посмотри, там ли он. Вдруг он решил покончить с собой. Повесился на чердачной балке на цепочке из позолоченных колец, которая лежала у меня в кедровом сундучке.

— Не беспокойся, мама, все в порядке.

— Тебе легко так говорить.

Я подумала, будь я мрачной старой девой в какую я уже начала превращаться, эта смерть могла бы принести мне избавление. Только вряд ли что-нибудь изменилось бы в моей жизни: к

этому времени наш дом кишел бы кошками, и я, конечно, не смогла бы с ними расстаться. Кипы газет до самого потолка. Запрятанные в матрацы деньги.

— Ты ждешь моей смерти, чтобы какой-нибудь заблудший грешник Сола занял мою комнату, — сказала она мне.

— Перестань, мама, выпей лучше немного бульона.

Потом она попросила меня разобрать ящики ее комода:

— Может, там есть вещи, которые стоит сжечь.

Я стала вытаскивать ящики, один за другим, и выкладывать их содержимое на ее постель: смятые эластичные чулки, сухие духи из вербены, вырванные из журналов кулинарные рецепты, сетки-паутинки для волос, прилипавшие к ее пальцам. Она перебирала все эти мелочи.

— Нет, нет, положи на место.

Что она искала? Любовные письма? Дневники?

Наконец из самого маленького ящика письменного стола она вытащила коричневый кусочек картона, внимательно посмотрела на него и через секунду сказала:

— На. Брось в огонь.

— Что это?

— Уничтожь ее. Если нет огня, разожги камин.

— Хорошо. — Я взяла из ее рук какую-то фотографию в картонном паспарту, положила ее возле себя и спросила — Принести еще один ящик?

— Иди, Шарлотта. Иди сожги ее.

Теперь, когда она сердилась, ее лицо словно втягивалось внутрь, будто его тянули за шнурок. Теперь она выглядела на свои семьдесят четыре года — как сплющенная, свалявшаяся, смятая подушка. Она подняла белый дрожащий указательный палец.

— Живо! — Голос ее дрогнул.

Я повиновалась. Но, едва выйдя из комнаты посмотрела, что же она мне дала. На обложке паспарту стоял штамп: «Бр. Хэммонд, опытные фотографы». Такой студии в Кларионе не было. Паспарту дешевое, сделанное наспех, с неровными углами.

В него была вложена фотография маминой родной дочери.

Не знаю почему, но я сразу догадалась. Может, было что-то общее в разрезе и выражении глаз, прозрачных, треугольных, исполненных ожидания. Или в этих ямочках на щеках, в веселой, щедрой улыбке. Снимок сделали, когда девочке было лет десять, а может, и меньше. Это была

фотография в мягких тонах, отпечатанная на необычно тонкой бумаге: головка, на шее оборочка, светлые растрепанные волосы перевязаны лентой.

Когда же она разыскала свою родную дочь? Почему держала это в тайне?

Я принесла фотографию к себе в спальню, заперла дверь и села на кровать, чтобы получше рассмотреть. Самое удивительное, что каким-то странным образом я чувствовала себя связанной с этой девочкой, будто знала ее. Мы могли бы быть подругами. Но, глядя на ее растрепанные волосы и шикарную пышную оборку, я поняла, что она из бедной семьи. Может, из семьи сезонных рабочих или из какой-нибудь бездомной семьи. Наверное, она выросла в трейлере на колесах и на всю жизнь так и осталась перекати-полем, продолжала кочевать и давно покинула наши края. Это должна была бы быть моя судьба, а она выпала на долю ей, я же тем временем жила ее жизнью, была замужем за ее мужем, воспитывала ее детей, была обременена ее родной матерью.

Я засунула фотографию в карман (я не собиралась уничтожать ее). И с тех пор постоянно носила ее с собой, даже ночью клала под подушку. Теперь она всегда была со мной. Часто, занима-

ясь домашними хлопотами, подавая маме судно или спиртовую растирку, я думала о хрупком, беспечном мире этой девочки. Мне казалось, когда-нибудь мы непременно встретимся и расскажем друг другу о том, как мы жили, я — ее жизнью, а она — моей.

Мама стала заговариваться. По-моему, она просто позволяла себе это, как бы устраивала себе отдых. А что ей оставалось? Хотя, когда надо было, она вела себя нормально. При ней все начинали запинаться, дети лишались дара речи, и даже Сол под любыми предлогами стремился уйти из комнаты. Мы с ней оставались вдвоем, как в давние времена. Мама сидела уставившись в стену. Я пришивала эмблему к скаутской форме Селинды, зеленые стежки закрепляли мамины воспоминания. Я думала о домашних делах: штопке, стряпне, чтении сказок, измерении температуры, именинных пирогах, визитах к дантисту и детскому врачу — обо всем, что связано с воспитанием ребенка обо всем том, с чем справлялась мама, хотя была уже немолода, страдала гипертонией и расширением вен, мама, такая неловкая, застенчивая до того, что даже покупка школьных ботинок вселяла в нее ужас. Раньше я никогда не задумывалась над этим. Фотография той, другой

девочки раскрыла мне глаза, дала возможность как бы со стороны, непредвзято посмотреть на свою мать.

— Он никогда в жизни даже не поцеловал ни одну девушку, — сказала она. — Мне пришлось первой его поцеловать. Я должна была помочь ему.

— Не может быть, мама.

— Ты, наверное, думаешь, что мы не умели тебя воспитывать.

— Ничего подобного.

— Мы не сумели создать тебе счастливое детство.

— Не выдумывай, мама. У меня было счастливое детство.

Может, так оно и было. Кто знает?

— У него изо рта вечно пахло фруктовой жвачкой. Самый дрянной сорт, всегда думала я.

— И я тоже, — сказала я.

— Мой брат теперь почти никогда не навещает меня.

— Но он же умер, мама. Ты забыла?

— Нет, не забыла. За кого ты меня принимаешь?

— А тетя Астер прислала тебе открытку.

Она дернулась, словно отгоняя что-то непри-

ятное.

— Если хочешь, я прочту ее тебе, — предложила я.

— Сколько еще мне придется мучиться от физических недугов? Когда наконец я избавлюсь от этого тела?

— Не знаю, мама.

— Принеси сигареты.

(Она не курила).

Я отложила шитье и выскользнула из комнаты. Иногда это было мне просто необходимо. Я быстро спустилась по лестнице, заставляя себя сохранять спокойствие, ни о чем не думать. Но в гостиной по полу были разбросаны мятые журналы, обувь, кукольные стульчики Лайнуса, а на диване с газетой в руках развалился Эймос. Я остановилась и прижала руку ко лбу. Эймос поднял на меня глаза.

— Может, пойти немного посидеть с ней? — спросил он.

— Не беспокойся, все в порядке.

— Ты не устала?

— Нет.

Он внимательно посмотрел на меня и наконец сказал:

— Прежде я не знал, какая ты на самом деле.

Мне казалось, он и теперь меня не знает. Ведь я находилась в оцепенении и наблюдала за своей жизнью со стороны с таким спокойствием, будто была сделана изо льда, а Эймос считал меня сильной и мужественной. Он так и говорил. Всякий раз, принося мне в затемненную мамину комнату чашку кофе или отправляя подышать воздухом на улицу, где, оказывается, уже давно наступило лето, он останавливался и говорил:

— Не понимаю, как ты со всем этим справляешься.

— Здесь не с чем справляться, — отвечала я.

— Раньше я считал, что ты только красивая, — сказал он на этот раз.

— Что?

— Я не понимал тебя. А теперь вижу, что каждый старается урвать от тебя хоть что-нибудь, а ты все такая же. Все цепляются за тебя, а ты по-прежнему тянешь этот воз. И ведь именно ты сказала ей правду. Я своими ушами слышал. Ты вслух произнесла это слово: «Рак». Ты освещаешь этот дом, у тебя хватает сил на всех.

Надо было возразить ему, рассмеяться, но я только пробормотала: «Нет…» — и замолчала. Тогда Эймос отложил газету, поднялся с дивана, обнял меня за плечи и поцеловал. Он действовал

уверенно, не торопясь — я могла бы остановить его в любую секунду, но не остановила. Губы его были мягче, чем у Сола. Руки — теплее. В нем не было мрачной одержимости Сола, и я вдруг увидела, что дело обстоит гораздо проще, чем я воображала.

Я жила теперь как во сне. Все казалось мне нереальным. Мама часто впадала в оцепенение, и ее невозможно было вывести из этого состояния. От детей, остались лишь бледные тени. Мои клиенты, облаченные в странные одеяния — боа из перьев, цилиндры, военные регалии, — появлялись и исчезали. Сол теперь почти все время молчал, и часто, просыпаясь по ночам, я видела: он сидит на краю постели, неестественно застыв, и сморит на меня.

Эймос подстерегал меня в пустых комнатах, на душном чердаке, на лестничной площадке запертого черного хода. Нас могли застать в любую минуту, и мы пока соблюдали осторожность. Но, даже не трогаясь с места, он мог привлечь меня к себе. Лето близилось к концу, и кожа Эймоса отливала бронзовым загаром. Лицо было гладкое, сытое. Когда он поднимал меня, мне казалось, я сбрасываю все свои беды на пол, будто гигантские бетонные башмаки.

Наверное, я любила его за то, что он не был Солом, Или за то, что он был более молодым и счастливым Солом. Он не тащил на себе тяжесть былых прегрешений и долгов — вот почему я его любила…

— Когда с твоей мамочкой будет кончено, я увезу тебя отсюда, — сказал он. — Сейчас ты не можешь уехать, я понимаю.

На самом же деле он ничего не понимал. Я бы уехала, мне так хотелось вырваться отсюда, отбросить все сложности, начать все сначала. Но я старалась не разрушать его представления обо мне и поэтому только кивнула в ответ.

— Мы будем гулять по какому-нибудь незнакомому городу, — продолжал Эймос. — Люди будут спрашивать меня: «Где вы ее раздобыли? Как вам удалось ее найти?» — «Она спала, — скажу я. — Все эти годы она ждала. Мой брат берег ее для меня».

Мы посмотрели друг на друга. Мы не были жестокими, ни он, ни я. Не были злыми. Так почему же это доставляло нам такую радость? Собственная неверность вселила в меня бодрость, окрыляла. Проплывая мимо зеркала, я видела к нем красавицу: блестящие волосы, загадочно светящиеся глаза, цыганское платье — яркий

блик во тьме.

Когда мы встречались с Эймосом на людях наши руки устремлялись друг к другу и тут же опускались, с невозмутимыми лицами мы расходились в разные стороны, точно воры.

Я сфотографировала мисс Фезер в черной бархатной накидке, в руках — серебряный пистолет, на самом деле — настольная зажигалка.

— Я пошлю это в подарок моей внучатой племяннице Ларю, которая никогда меня не навещает, — сказала она. — Будь добра, сделай несколько отпечатков.

— Хорошо.

— И для других моих внучатых племянниц. Они тоже никогда меня не навещают.

— Я сделаю все к завтрашнему дню.

Было уже поздно. Я устала. Мама дремала, и я старалась закончить работу. Но мне никак не удавалось отрегулировать фокусировку, изображение получалось расплывчатым.

— Пожалуй, надо идти спать, — сказала я мисс Фезер.

— Нет, подожди, пожалуйста.

— Я должна отдохнуть.

— Но я хотела спросить, что с Солом, — сказала мисс Фезер. — В последнее время он сам не свой.

— А мы все?

Она расстегнула застежку, сбросила накидку и подбежала ко мне. Возбужденная маленькая женщина, размахивающая серебряным пистолетом.

— Послушай, — начала она. — Я давно хотела тебе сказать: он твой муж. Может, вам поехать вместе отдохнуть? Я бы приглядела за детьми.

— Отдохнуть? Мисс Фезер, мне кажется, я отдыхаю, если мне удается хоть на минуту вырваться из маминой спальни.

— Но, милая…

— Все равно, спасибо вам.

Я поднялась наверх, сняла туфли и тяжело опустилась на край постели. Сола не было. У него появилась привычка подолгу гулять перед сном. Я была предоставлена самой себе, можно спокойно засунуть руку в карман юбки и вытащить оттуда фотографию моего настоящего «я». Девочка улыбалась, беспечно, бесстрашно, но мои глаза слишком, устали, и я не могла как следует рассмотреть ее. Она словно состояла из разрозненных частей. И я никак не могла собрать их воедино.

Что же подучилось из тебя в конце концов? Какая ты теперь?

В конце декабря маму увезли в больницу. Я

была против, но доктор Портер сказал, что я сама на себя не похожа, к тому же, по его словам, мама, пожалуй, и не заметит этого. Теперь она почти все время была без сознания. К ней присоединили множество разных проводов и приборов. Она лежала молча, с закрытыми глазами. Казалось, она ведет себя так нарочно — не спит и не в беспамятстве, а просто отгораживается от меня, обнимает свое никому не ведомое когтистое чудовище. Я ревновала ее к нему. Сиделки отсылали меня домой, но я оставалась с мамой, упрямо вцепившись в ручки кресла.

Эймос принес мне сандвич «биг-мак» — фирменную котлету в булке, — и вместе с ним в палату ворвался запах прекрасной будничной жизни. Я отказалась уйти с ним, он оставил сандвич на столике и быстро удалился по коридору. Его мокасины негромко, сердито и укоризненно поскрипывали. Потом явился Джулиан, нервный, взвинченный, одетый так, будто собирался провести вечер на скачках. Передал мне записку от Лайнуса: «Не могу посещать больницы. Не выношу этой обстановки. В знак сочувствия к тебе веду детей в кафетерий есть пиццу». Я поблагодарила Джулиана, и он ушел своей танцующей походкой.

Появился Сол. Остановился, пригнувшись в дверях, оглядел палату и только потом вошел. Сел в кресло рядом со мной и поддернул черные брюки на костлявых коленях. Неуклюже вытянул вперед шею.

— Ты поела? — шепотом спросил он.

— Да.

Сандвич лежал нетронутым на столе. Я была сыта его запахом.

— Как она?

— Все так же. Можешь говорить громко.

Он откашлялся. Положил на колени Библию, вытащил очки для чтения и протер стекла кончиком галстука. Потом надел очки и раскрыл Библию. Я снова стала наблюдать за мамой. Она была похожа на сморщенный воздушный шар. Лишь все эти провода удерживали ее на Земле. Без них она бы поднялась вверх, спокойная и невозмутимая; и вылетела в окно. Я хмыкнула. Покосилась на Сола в надежде, что он не заметил. Он смотрел не в Библию, а прямо перед собой. Лицо его было угрюмым.

— Сол, — сказала я.

Он перевел взгляд на меня…

— Что с тобой?

— Я только и делаю, что посещаю умираю-

щих, — проговорил он. — Даже чаще других проповедников.

— Ты в самом деле очень часто их посещаешь.

— Может, потому, что я не способен их утешить.

— Ты? Почему?

— Не знаю, что им сказать. Не люблю умирающих.

— Успокойся, — сказала я.

— Иногда мне кажется, — продолжал он, — что нам без конца повторяют один и тот же урок; снова и снова, до тех пор пока мы его не усвоим. Мы стоим, а перед нами крутится то же самое.

Я представила себе карусель с маленькими пегими лошадками. Это меня немного успокоило. Но Сол захлопнул Библию и наклонился ко мне, заглядывая прямо в глаза.

— Так будет до тех пор, пока мы как следует, не усвоим урок, — повторил он. — Простим, раскаемся или сделаем правильный: выбор. Исправим то, чего не сумели сделать в первый раз…

— Может, ты прав, — сказала я.

— Я снова и снова, повторяю себе: все это.

— Понимаю.

Мне стало чуточку не по себе. Наверное он почувствовал это, потому что вдруг как-то обмяк и

откинулся на спинку стула.

— Вот. Именно это я хотел сказать тебе.

— Понимаю, — повторила я…

— Пойдем домой, Шарлотта?

— Не могу.

— Но она ведь не придет в себя. Ты слышала, что сказал доктор Портер?

— Не могу Сол. А ты иди.

И немного погодя он ушел. Собирался он шумно, меня: раздражал этот шум. Отвернувшись, я ждала, когда же он уйдет, удивлялась, почему, он медлит в дверях. Наконец он исчез.

Теперь мама принадлежала только мне. Я все еще не могла отпустить ее от себя. Она оставалась, как неразрешимая задача, над которой мучительно бьешься, проклиная все на свете. Она измотала меня, истерзала и вот теперь умирает, не ответив ни на один важный вопрос, не открыв мне ни одной серьезной истины. Небольшой холмик на постели, бесцветный, загадочный. Я была в бешенстве.

Около полуночи она сказала:

— Что-то давит мне на ноги.

Я наклонилась к ней. В синеватом свете ночника на меня смотрели полузакрытые чужие глаза.

— Мама… — сказала я.

— Что у меня на ногах? — спросила она срывающимся, хриплым голосом. — И на руках тоже. Их-чем-то связали. Что случилось?

— Ты в больнице.

— Сними с моих ног это одеяло, Шарлотта.

— Мама, ты давно проснулась?

— О боже, ноги.

Я встала, пошарила в карманах юбки, блузки и чуть было же закричала, но потом вспомнила про кофту.

— Мама, посмотри. — Я включила небольшое бра у изголовья ее кровати. Она вздрогнула и закрыла глаза. Я поднесла фотографию к ее лицу. — Посмотри, мама.

— Убери свет.

— Это очень важно, — настаивала я. — Чья это фотография?

Она отвернулась, покачала головой в знак протеста, но чуть приоткрыла глаза. Потом опять закрыла.

— Это я.

— Кто?

— Я же сказала: это я. В детстве.

Я уставилась на фотографию.

— Ты уверена?

Она безучастно кивнула.

— Но… я думала, это твоя родная дочь. Та, с которой меня спутали в больнице.

— Больница! — Она снова открыла глаза, медленно, нахмурясь, оглядела темный потолок. — Я не давала согласия, чтобы меня положили в больницу.

— Мама, я говорю о той больнице, в которой ты родила ребенка. Помнишь, у тебя родился ребенок?

— Это был такой сюрприз, — сказала мама.

— В самом деле.

— Подарок. Кукла в коробке.

— Вот именно…

— Не представляю, как это могло случиться. Мы так редко спали вместе.

— Не об этом речь, мама, я о ребенке. Ведь ты считала, что я не твой ребенок.

— Ребенок? — сказала она, словно собравшись с силами. — Это был не чужой ребенок. Это была ты, Шарлотта.

— Но ты же говорила, меня подменили в больнице.

— С какой стати я бы стала это говорить? Ой, здесь все так… Какой яркий свет.

Я выключила лампу.

— Давай разберемся. Значит, ты никогда не

считала меня неродной дочерью? У тебя никогда не возникало такой мысли?

— Нет, нет. Ты что-то напутала, — сказала она. — Ты… Не знаю… — Она закрыла глаза. — Сними с моих ног эту тяжесть, пожалуйста.

Я не знала, о чем еще спрашивать. Я растерялась. И не потому, что не полагалась на свою память. Я была уверена в ней (или почти уверена). Но фотография! Ведь теперь я поняла, что это действительно мама. Вне всякого сомнения. А я столько напридумывала, столько увидела в глазах этой девочки, вообразила, будто живу ее жизнью.

— Ноги, Шарлотта.

Я сунула фотографию в карман, подошла к постели, взяла сложенное в ногах покрывало, повесила его на спинку стула. Осторожно обходя приборы и провода, чтобы не задеть их, не потревожить маму, я возвратилась к ней и с нежностью, какой не знала всю жизнь, прижалась щекой к ее лицу.

Она умерла через несколько дней, ее отпевали в молитвенном доме «Святая Святых». Сол отслужил заупокойную мессу. Гроб показался мне неестественно узким. Может, раньше мне тоже казалось, что она тучная.

На похоронах было много пароду: ведь хоронили тещу проповедника. Обо мне прихожане были невысокого мнения (я не посещала кружок рукоделия, странно относилась к жизни и вообще была недостойна Сола во всех отношениях). Но все они выражали сочувствие и говорили то, что принято говорить в таких случаях. Я отвечала чужим, глухим голосом который словно раздавался откуда-то из-за моего правого уха. Эта смерть застигла меня врасплох, потеря оказалась для меня тяжелее, чем я думала.

После похорон я какое-то время была очень внимательна к окружающим. Старалась принимать все что мне предлагали: чай от мисс Фезер, чашку за чашкой, крохотные зимние букетики цветов от доктора Сиска, даже молитвы Сола — он повторял их безмолвно, чтобы не раздражать меня, но я чувствовала: он молился. Порой, когда я сидела с Джиггзом (ему снились кошмары), Сол просыпался и шел меня разыскивать. Остановится в дверях в своей потрепанной пижаме и спрашивает:

— Что случилось?

— Не беспокойся, все в порядке.

— А я решил, что-то случилось.

— Нет, нет.

— Проснулся, а тебя нет рядом.

— А с тобой все в порядке?

— Конечно.

— Смотри не простудись.

Выждет несколько минут, проведет рукой по волосам и, спотыкаясь, бредет в спальню.

Все мы попали в некие сети, запутались в нитях любви, привязанности и забот друг о друге. Лайнус, склонив голову набок, испытующе вглядывался в наши лица; Эймос заполнял дом музыкой: Селинда парила в облаках раннего отрочества, но время от времени неожиданно спускалась на землю, чтобы убедиться, что все на своих местах. Джулиан клал кому-нибудь из нас на плечо руку и словно забывал ее там, а сам тем временем, насвистывая, смотрел в другую сторону.

— Не буду тебя торопить, — сказал Эймос. Я посмотрела на него. — Я знаю, каково тебе сейчас.

Теперь мы уже не встречалось в пустых комнатах, а если случайно сталкивались и он обнимал меня, я испытывала лишь смутную нежность и некоторое смущение. Меня огорчала его мятая рубашка с заплатками на локтях, я сделала их давным-давно в далекие беспечные времена. Выходит, мы все заботились друг о друге, но так,

что посторонний этого бы не заметил.

Я выжила. Пекла им торты. Стирала их белье. Кормила их собаку. Однажды вечером я переступила порог студии, и на меня пахнуло привычным запахом моей работы, сильным, насыщенным, успокаивающим запахом реактивов, химикалий, глянцевой фотобумаги, шероховатого, зернистого металла старого отцовского фотоаппарата. Я включила свет и сняла с двери табличку ЗАКРЫТО.

Не прошло и десяти минут, как появился Бандо с автозаправочной станции. Он сказал, что хочет сфотографироваться, как мисс Фезер: в накидке и с серебряным пистолетом… Могу я сделать такой снимок? Подойдет ли ему по размеру накидка, а пистолет — он настоящий?

— Конечно, настоящий, — сказала я. — Раз ты видишь его и держишь в руке, значит, настоящий.

— Нет, я не про то…

— Сядь, пожалуйста, возле светильника.

Сразу после его ухода я проявила негативы — какое счастье, что я снова занята. Я возвратилась из темной комнаты с кипой мокрых отпечатков и увидела Эймоса. Он стоял в дверях, прислонившись к косяку, и наблюдал за мной.

— Эймос!

— Снова работаешь, — сказал он.

— Это только Бандо.

Я развесила фотографии на веревке. Лицо Бандо смотрело на меня сверху вниз, чистое; безмятежное; словно замурованное в янтарь.

— Как странно, правда? — сказала я, — В жизни у него вовсе не такое благородное лицо. Отец ни за что не одобрил бы эти фотографии, сказал бы, что они не настоящие.

— При чем тут твой отец?

— Понимаешь…

— Ты работаешь в этой студии уже сколько лет? Шестнадцать или семнадцать? Она твоя почти столько же лет, сколько была его.

— Все это так, ты прав, но… — Я повернулась и взглянула на него. В самом деле, так оно и есть.

— А ты до сих пор удивляешься, когда тебя просят сделать фотографию. Всякий раз сомневаешься получится ли у тебя. Семнадцать лет неопределенного положения. Подумать только!

Наконец-то я поняла, что он сердится. Но почему? Я вытерла руки о юбку и подошла к нему:

— Эймос…

Он отступил назад и напряженно замер.

— Похоже, ты не уйдешь со мной, Шарлотта?

— Уйду?!

Да, он прав, никуда я с ним не уйду.

— Тебя вполне устраивает твоя теперешняя жизнь Белоснежка и четыре гнома.

— Да нет, не в том дело… Просто, понимаешь, Эймос, в последнее время мне кажется, моя жизнь так, неразрывно сплетена здесь со всеми. Я связана с ними гораздо сильнее, чем думала. Неужели ты не нанимаешь? Разве я вправе порвать с ними?

— А я думал, дело только в твоей матери, — сказал он. — Думал, тебя держит чувство долга и, если бы не она, ты сразу ушла бы от них. Выходит, я ошибался. Теперь как будто ничто тебя не держит. Но, значит, и раньше тебя ничто не удерживало, правда? Ты могла уйти в любую минуту, только все ждала, когда тебя подтолкнут. Инертность. Ты пассивный человек, Шарлотта. Ты остаешься там, куда, тебя ткнут. Неужели ты и вправду собиралась уйти?

Мне показалось, я не смогу вымолвить ни слова, но голос мне повиновался.

— Конечно, собиралась, — сказала я.

— В таком случае мне жаль тебя, — сказал он. Но нет, он нисколько меня не жалел. Он смотрел на меня сверху вниз. Руки, засунутые в карманы,

были сжаты в кулаки. — Ты обманула не только меня, но и себя. Я то выберусь отсюда, а вот ты позволяешь похоронить себя здесь и даже помогаешь засыпать могилу. С каждым годом ты ждешь от жизни все меньше, становишься все терпимей. Ты из тех, кто возводит терпимость в добродетель. Гордишься тем, что позволяешь другим оставаться самими собой; это их дело, говоришь ты, неважно, на чью мозоль они при этом наступают, пусть даже на твою… — Он замолчал, наверное, увидел выражение моего лица. А может, просто выдохся. Вытащил из кармана кулак и вытер рот тыльной стороной ладони. — Благодарю за урок, — наконец сказал он. — Я ухожу, пока сам не оказался в твоей шкуре.

— Эймос!

Но его уже и след простыл, он не остановился, не оглянулся. Хлопнула парадная дверь. Что же делать дальше? Я стояла и ошеломленно, беспомощно смотрела на все, что меня окружает: на пыльные фотопринадлежности, на груды реквизита, на мебель Альберты, которую Сол вопреки обещанию так и не разобрал и не вывез, я только сейчас это заметила, она просто перемешалась с нашей обстановкой. Я посмотрела в окно, на дома-развалюшки напротив: скупка, газетный

киоск, винная лавка, пошивочная мастерская Пей Уинга… Ни одного жилого дома, подумать только… Все соседи уже выехали, и только мы застряли между двумя бензоколонками.

Наверное, я впала в оцепенение: так долго я простояла не двигаясь. Пошел густой снег, он падал медленно-медленно, вертикально, трудно даже было понять, то ли снег падает на землю, то ли наш дом тихонько поднимается и уплывает в беззвездную синюю ночь.

После ухода Эймоса я ощутила прилив энергии. У меня появилось множество дел, я готовилась в путь.

Сначала я избавилась от одежды, книг, безделушек, репродукций картин. Я перетаскивала мебель в скупку через дорогу. Отдала мамин садовый стул Пей Уингу, комнатные цветы подарила регенту приходского хора, парадный сервиз пожертвовала молитвенному дому «Святая Святых». Я выбрасывала коврики, занавеси, салфетки. Сложила кукольную мебель в картонные коробки и отнесла на чердак. Я стремилась, чтобы наш дом стал похож на голый, полированный, мертвенно-бесцветный череп. Но оказалось, сделать это гораздо труднее, чем я думала. Лайнус по-прежнему мастерил новую кукольную мебель,

а я все уносила и уносила ее. На рояле вырастали новые кипы журналов и нот. Я вызвала бригаду из Армии спасения, чтобы они забрали рояль. Из детских спален сыпались и катились вниз по лестнице разные вещи. Я отправляла их обратно наверх. Как ни странно, никто не спрашивал, куда девалась мебель.

Гостиная превратилась в заполненную светом, оклеенную обоями пещеру в которой размещались диван, два стула и лампа; на стенах, там где раньше висели картины, остались светлые квадраты. Но мне и этого было мало. Я бродила по гулким комнатам, уж совсем неприметная, в своей узкой серой юбке, которую решила не выбрасывать, и с недовольством смотрела на Джиггза: в одних чулках он катался по голому, без ковров, полу.

Потом я принялась избавляться от людей. Перестала подходить к телефону, здороваться со знакомыми, не задерживалась в лавке, чтобы поболтать с соседями. Торопливо пробегала по улице, при виде идущего навстречу знакомого у меня замирало сердце и я немедленно переходила на другую сторону.

Не хотела я, чтобы меня отвлекали. Расспросами о моем здоровье, замечаниями, сплетнями,

болтовней. Все эти люди поглощали большую часть моей жизни. Они вовлекали меня в учительские конференции, благотворительные кампании. Перед началом школьного спектакля, в котором участвовала Селинда, они вынудили меня потерять целых двадцать минут, я теребила пуговицы пальто, ждала, когда же наконец поднимется занавес. А какое, в сущности, мне дело до Селинды? Такими темпами я никогда отсюда не выберусь.

Довольно трудно было избавиться от оборудования фотостудии, я просто взяла и закрыла ее. Захлопнула двери и заперла на ключ. Иногда, сидя в гостиной, я слышала, как клиенты стучат в парадную дверь и зовут меня: «Мадам! Фотограф! В чем дело, вы больше не работаете? А мы на вас рассчитывали!» Я сидела, сложив руки на коленях, — удивительно, сколько людей рассчитывало на мои фотографии. Теперь многое меня удивляло. Все мои волнения улеглись, ничто уже не замутняло течение жизни. И можно было наконец увидеть, что мне осталось.

Но никому другому увидеть это было не дано. Семья по-прежнему донимала, преследовала меня. Им казалось, что я им еще что-то должна. Я пыталась объяснить, что происходит: «Вам при-

дется теперь справляться самостоятельно». Они встречали мои слова с недоумением. Просили меня подстричь их, пришить к рубашкам пуговицы. Сол все еще пытался вести свои бесцельные разговоры. Наверное, он женился на мне потому что видел мою преданность матери. Решил, что у меня не хватит духу оставить свой дом. Как я не поняла, что означают эти его: «Я-знаю-ты-меня-любишь, я-знаю-ты-меня-не-бросишь»?

— Наш брак не удался, — сказала я ему.

— Нет розы без шипов, Шарлотта, — ответил он.

— Я должна пройти курс жизни вне дома.

— Вне дома?

— Научиться жить самостоятельно, обходиться без удобств. Поездить, побывать в пустыне, в Альпах…

— Но здесь нет пустынь.

— Знаю.

— И Альп тоже нет.

— Знаю.

— У нас даже редко идет снег.

— Сол, — сказала я, — неужели ты не понимаешь? Я же никогда нигде не была. Всю жизнь живу в доме, в котором родилась. И мать моя родилась здесь. Мои дети ходят в ту же школу,

куда ходила я, и у Селинды даже та же самая учительница. Когда я была ее ученицей, она только начинала преподавать, отчаянно трусила и была хорошенькая, как куколка, а теперь это высохшая старая дева, и она отправляет Селинду с уроков только за то, что девочка не носит бюстгальтеров.

— Конечно, — сказал Сол. — Все возвращается на круги своя. Разве я не говорил тебе об этом? И ты, и я тоже возвращаемся на круги своя, Шарлотта. Из года в год. Меняемся лишь в мелочах. Со временем все утрясется.

— Игра не стоит свеч.

— Не стоит?

— Слишком дорогая цена.

Он взял мои руки в свои. Лицо его было спокойно, лицо проповедника. Он, наверное, не понимал, как сильно сжал мои руки.

— Подожди немного, — сказал он. — Это пройдет. У каждого из нас… Подожди немного. Подожди…

И я ждала. Чего? Мне казалось, я еще не от всего освободилась. Кое-что у меня пока оставалось.

Джиггз напомнил мне о родительском собрании, увидел запись об этом в детском календаре. Ему уже исполнилось семь лет, трудолюбивый

мальчик, хороший организатор, руководитель по призванию.

— Собрание в восемь вечера. И надень, пожалуйста, свое красное платье, — попросил он.

— У меня уже нет этого платья, и я не хочу посещать никаких собраний.

— Но ведь, это так интересно, там будут раздавать печенье. Наш класс приготовил вам прохладительные напитки.

— Всю жизнь я провела на кларионских родительских собраниях. Какой в этом смысл?

— Не знаю, но какой-то смысл, наверное, есть, — сказал Джиггз. Он снова внимательно посмотрел на календарь. — Тринадцатого день рождения Магомета. Пятого был Всемирный день молитвы. Мама, тебе понравился Всемирный день молитвы?

— Извини, детка, я даже не знала, что был такой день.

— Надо было посмотреть заранее.

— Но, по-моему, самый лучший день — чистый квадратик в календаре. Это все, что мне нужно.

— В таком случае, — сказал Джиггз (он поправил очки и провел пальцем по календарю) — в марте у тебя будет три прекрасных, дня.

— Три? Всего, три дня?!

Я посмотрела сзади на его шею, гибкую, атласную. Неторопливо представила себе, его мать. Она приедет в Кларион на междугородном автобусе, в ярком, безвкусном, дешевом, платье из блестящей вискозы. Я бы могла встретить ее на остановке. Взяла бы с собой Джиггза. Отдала бы ей его наконец после стольких лет разлуки.

В то утро Лайнус и мисс Фезер участвовали в благотворительном базаре; я оставалась дома одна. Отправила детей в школу, в последний раз убрала дом, избавилась от всего, что накопилось за ночь: скомканных носков, смятых черновиков с домашними заданиями, кукольного домика размером не больше кусочка сахара, заполненного крохотной мебелью (я не посмотрела какой именно мебелью, боялась, а вдруг там запрятан еще один один кукольный домик).

Потом я выкупалась, надела чистую юбку блузку. В зеркале я увидела какую-то знакомую мне женщину с впалыми щеками. Глаза, словно присыпанные сажей, на щеках красные пятна, можно подумать, что у меня лихорадка. Но жара не было. Мне было очень холодно и тяжко.

Пес будто чуял, что я ухожу, ходил за мной по пятам, скулил, тыкался носом в мои колени. Он раздражал меня. Я отперла дверь в студию и

втолкнула его туда.

— Прощай, Эрнест.

Я подняла голову и увидела зеленоватый свет, проникавший в студию через окна, — такого света не было больше нигде. Да, мне не дано было чувствовать себя счастливой, когда ко мне приходило счастье. Я захлопнула дверь и еще раз обошла дом, дотрагиваясь до захватанных дверных косяков, вслушиваясь в отсутствующие голоса, вдыхая запах клея и старых книг. Похоже, я так и не смогу совершить то, что задумала.

Но раз дело начато, отступления нет.

Одна надежда — вдруг мне что-нибудь помешает. На веранде я потопталась возле телефона: может, позвонят, что у Джиггза начался насморк и его отправляют с уроков домой? В кухне бесконечно медленно заваривала чашку растворимого кофе. Рассеянно насыпала в миску кукурузные хлопья из большой коробки. И вдруг из нее что-то выпало, какой-то белый бумажный пакетик с обыкновенным детским сюрпризом. Я вынула пакетик из миски и распечатала его. Внутри был штампованный жестяной значок с изображением бегущего мне навстречу человечка с огромными ногами. А под ним слова, как раз для меня: СМЕЛО ВПЕРЕД.

# *Глава 15*

В поисках банка, открытого в пятницу вечером, мы ехали медленно. Оставили позади Перт, миновали один городок, потом еще один. Городишки эти были нанизаны один за другим, как бусы в ожерелье, между ними не было пустого пространства, их соединяли киоски с мороженым, лавчонки с сувенирами из ракушек, кино для автомобилистов на открытом воздухе. Стемнело, и на киноэкране были отчетливо видны лица актеров. А вместо лиц Джейка и Минди я видела лишь золотистую линию, обрамлявшую профиль каждого из них, высвечиваемый порой разноцветными огнями мелькавших мимо неоновых вывесок. Минди наклонилась вперед и, закусив губу, пристально вглядывалась в каждое здание. Джейк съехал на сиденье вниз, словно был болен или избит, и почти не смотрел в окно.

— Может, в этом штате в пятницу вечером все банки закрыты, — сказали Минди.

Джейк молчал.

— Джейк?

Он пошевельнулся.

— Ничего подобного.

— Откуда ты знаешь? Так можно ехать целую ночь, пока не угодишь в океан. Может, лучше остановимся и разменяем чек в каком-нибудь магазине?

— Ну, знаешь, в магазине это сделать гораздо труднее. Волокиты не оберешься, — сказал Джейк. — К тому же им потом будет легко опознать нас.

— Но я устала! У меня свело шею.

Джейк повернул голову, вглядываясь в похожее на банк конторское здание.

— Когда я не поем в шесть часов, мне делается плохо, — сказала Минди. — А сейчас уже почти семь.

— Ну, успокойся, Минди, — рассеянно бросил Джейк.

— Ты же знаешь, что у меня низкий сахар в крови.

— Правда? Так, может, дать тебе сахару?

— Да нет, не хочу.

— Это не проблема, Минди, сахар у меня при себе. — Он стал рыться в карманах куртки, случайно задел меня локтем. — Вот посмотри. В пакетиках, из кафе. — Пакетики были замусоленные, измятые. Он вытащил из карманов две

пригоршни. — Видишь, я всегда к твоим услугам.

— Джейк Симмс, — сказала Минди. — Ты в своем уме? Мне не твой сахар нужен, ты что, издеваешься надо мной?

Он опустил руки. Посмотрел на меня:

— Ты кто-нибудь понимаешь?

— Хм…

— У нее низкий сахар в крови, но она не хочет есть сахар.

— Думаю, ей лучше знать, что ей надо.

Он покачал головой, глядя на пакетики.

— Я тебя просто не понимаю, Минди. Противоречишь сама себе. Какого черта ты цепляешься за меня, если я не могу тебе угодить?

— Это я-то цепляюсь за тебя? — рассердилась Минди. — Ну давай, давай, пили, жалуйся. Вали все на меня. Но только вспомни, что ты говорил мне в прошлом году Четвертого июля. Вспомни-ка.

Он искоса взглянул на меня из-под коротких, словно обрубленных, ресниц.

— Что вы ей говорили? — спросила я.

Он поджал губы и запихнул сахар обратно в карман.

— Говорил, ему ни с кем, кроме меня, не бывает так хорошо и спокойно, — сказала Минди. — Го-

ворил, он сам не знает почему, но это так. В тот день мы устроили загородный пикник. Он тогда проиграл на автородео. И я сказала, черт с ними, с этими гонками. «Для меня, — сказала я, — ты всегда — останешься таким, каким я впервые увидела тебя за рулем: ловким, красивым, в белой джинсовой куртке, которая потом разодралась в клочья во время гонок под Вашингтоном». Вот тогда он и сказал мне эти слова. Спросил, не выйду ли я за него замуж.

— Ничего подобного, — огрызнулся Джейк.

— Но ты же говорил, что когда-нибудь это может случиться.

— Ты все переиначиваешь в своих интересах.

— Нет, Джейк, — сказала она. — Я говорю правду. Это ты все переиначиваешь. Разве ты не видишь, что происходит? Всякий раз ты сначала бросаешь меня, а потом возвращаешься и снова начинаешь бегать за мой навязываешься. Говоришь: «Я твой, Минди. Ты — все, что у меня есть». Торчишь под окном, зовешь меня, ездишь по ночам мимо нашего дома, и я вижу, как свет от фар скользит по потолку. Звонишь мне по телефону и говоришь: «Все на меня нападают, жизнь мне опостылела. Выйди, побудь со мной».

— Ты любишь преувеличивать.

— Ты сам сказал: «Похоже, в один прекрасный день мы поженимся».

— Если я и говорил такое, я этого не помню.

— Ты сказал: «Если ты вдруг забеременеешь или что-нибудь в этом роде…»

Наступило молчание.

— Ты сказал: «Какого черта я мечусь взад-вперед? Почему бы мне в конце концов не сдаться».

На лицо Джейка вдруг упал отсвет неоновой рекламы, и оно показалось мне бледным, болезненным, под глазами синяки.

— Разве не правда? — спросила Минди.

— Замолчи. Кажется, это банк. Подъезжай к обочине.

Она резко затормозила — мы качнулись вперед — и тут же свернула на стоянку. Джейк вытянул руку, чтобы удержаться на месте.

— Хотел о чем-то спросить, — медленно проговорил он. — Но из-за этой идиотской болтовни все вылетело из головы.

Мы молча ждали.

Наконец его лицо прояснилось.

— Сколько у тебя денег? — спросил он у Минди.

— Ни о чем другом ты не думаешь?

— Я спрашиваю на тот случай, если тебе захо-

чется съесть сосиску с булкой или еще чего-нибудь, пока мы с Шарлоттой будем в банке.

— Вот оно что, — сказала Минди. — Ну, на это у меня хватит.

— Видишь забегаловку? Встретимся там минут через пять-десять.

— Вам что-нибудь заказать?

— Нет, — ответил Джейк.

— Разве вы не проголодались?

— Нет, почему же, — сказал он. — Просто ты пока замори червячка, Минди. А как получим деньги, поедем в какое-нибудь приличное место. Правда, Шарлотта? Шарлотта?

— Где подают хорошие бифштексы, — сказала Минди.

— Бифштексы или что другое, мне все равно, — сказал он. — Пошевеливайся.

Минди открыла дверцу и с трудом выбралась наружу. Мы последовали за ней. Джейк дотронулся пальцем до ее руки:

— До скорого.

— До скорого, — ответила она и пошла, размахивая своей сумкой-сердечком.

Вечер был теплый, в воздухе толклась мошкара, пахло ирисками. Улицы были пустынны. Справа возвышался кирпичный куб бежевого

цвета. На фасаде — алюминиевые буквы вывески: ВТОРОЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ БАНК. Мы поднялись по лестнице, прошли через вращающуюся дверь. От внезапного холодка лицо у меня стало напряженным. В глаза ударил режущий белый свет, и мы зажмурились. Звук шагов тонул в мягком ковре.

Я заняла очередь за мужчиной в строгом деловом костюме.

— Зачем ты встала в эту очередь? — спросил Джейк. — Она же самая длинная.

Я собиралась расстаться с ними и решила не торопить события.

— Чтобы никаких глупостей, ясно?

Я чуть не рассмеялась. Интересно, что он вообразил?

Что я перепрыгну через решетку кассы? Сделаю какую-нибудь подозрительную подпись под аккредитивом, вроде: ШАРЛОТТА ЭМОРИ, ЗАЛОЖНИЦА. Кассирша и бровью не поведет. Равнодушно взглянет на эту подпись, как будто я написала что-то самое обыкновенное, что-то оговорила или указала свою профессию. О, теперь-то я уже знала: рассчитывать на постороннюю помощь бесполезно.

— Ну что за ерунда, — сказала я Джейку.

Он, видно, понял, что я ничего не выкину, и

отступил. Нейлоновая куртка зашуршала. Мужчина в строгом деловом костюме отошел от кассы, складывая пачку банкнотов.

— Мне надо получить по аккредитиву, — обратилась я к кассирше. — Лицо ее выражало скуку. Я расписалась шариковой ручкой прикрепленной к окошку кассы, и просунула через решетку аккредитив. Взамен кассирша отсчитала сто долларов двадцатидолларовыми бумажками. Я пересчитала их и отошла в сторону, уступив место рыжеволосой женщине, которая прикладывала к носу гигиеническую салфетку.

— Не так страшен черт, как его малюют, — сказал Джейк, когда мы вышли на улицу.

— Вот именно, — сказала я.

— Проще простого.

— Точно.

Мы прошли мимо запертого обувного магазина с освещенной витриной, миновали цветочный магазин — за стеклом причудливо светились тропические растения. Дошли до забегаловки в железнодорожном вагончике, обнесенном забором из штакетника. В широком грязном окне мы увидели Минди: она сидела за стойкой спиной к нам, расставив локти, и лениво поворачивалась на вращающемся табурете, юбка ее вздымалась

пузырем. Мы стояли и смотрели на нее, словно нам некуда было идти, нечего делать.

Вдруг Джейк резко вздохнул:

— А ведь я собирался ее бросить. — Я кивнула. — Но не могу. Она пожалуй права. Что-то привязывает меня к ней.

Минди подняла руку с сосиской в булке. Она вытирала согнутой рукой лицо, и рука эта казалась хрупкой, словно прутик или цветочная былинка.

— Кончится тем, что я на ней женюсь, правда, Шарлотта?

— Может так но и будет, Джейк.

— Связал себя по рукам и ногам. Точно? Всю жизнь буду тянуть эту лямку, плясать под ее дудку.

Я посмотрела на него.

— Золотистые и оливковые, — сказал Джейк. — Занавески «патриция». Младенцы. Видишь, до чего я докатился. Что ты на меня уставилась?

— Ничего, — сказала я. — Вот. Возьмите.

— Что это?

Он конечно, видел, что я протягиваю ему деньги. Пять новых купюр по двадцать долларов каждая. Пришлось вложить их ему в руку и зажать ее в кулак.

— Шарлотта.

— Я ухожу, — сказала я.

От удивления он раскрыл рот.

— Не могу же я быть привязанной к вам навсегда, Джейк. Вы же знали, что когда-нибудь нам придется расстаться.

— Нет, подожди. — Голос его стал резким, скрипучим.

— Передайте привет Минди.

— Но, Шарлотта, послушай… Я еще не могу без тебя. Понимаешь? У меня на руках беременная женщина и все эти… Шарлотта, пока ты с нами, мне все-таки легче, пойми. Тебе все по плечу, как будто так и должно быть. Ты все время чуть улыбаешься. Ведь мы уже знаем друг друга, Шарлотта, правда?

— Правда, — согласилась я.

— А вообще-то… — Джейк вдруг вздернул подбородок. Засунул деньги в карман и выпрямился, слегка покачиваясь взад-вперед, — Непонятно, чего это я так тебя уговариваю, ты же все равно не можешь уйти; твои деньги у меня.

— Можете оставить их себе, — сказала я.

— Как же ты поедешь, объясни.

— Ну, обращусь в благотворительное агентство.

— А твой значок?

— Что?

— Наверное, захочешь получить его обратно?

— Значок? Ах да, зна…

— Так вот, ты его не получишь. Значок я оставляю себе.

— На здоровье.

Я протянула ему руку: не хотела уйти просто так, не попрощавшись. Но Джейк отказался пожать ее. Подбородок его все еще был вздернут, глаза устремлены на меня. В конце концов пришлось оставить эту мысль.

— Что ж, до свидания, — сказала я. Повернулась и пошла в ту сторону, откуда мы приехали и где, скорее всего, была автостанция.

— Шарлотта, — сказал Джейк.

Я остановилась.

— Если ты сделаешь еще один шаг, я буду стрелять, Шарлотта.

Я пошла дальше.

— Прицеливаюсь. Слышишь? Спускаю предохранитель. Пистолет заряжен. Я целюсь тебе прямо в сердце.

Мои шаги звучали ровно, размеренно, как дождь.

— Шарлотта!

Я шла вперед, уже ощущая дыру в спине.

Обогнала пожилую пару в вечерних туалетах. Выстрела все не было. И теперь наверняка не будет. Наконец я перевела дух, удивляясь своей выносливости: сколько опасностей осталось позади, и из всех испытаний я вышла невредимой. С легким сердцем, спокойно и плавно я обогнула ребенка, прошла мимо женщины, сидящей в стеклянной коробке — кассе кинотеатра. Дошла до конца квартала и оглянулась. Он все стоял на том же месте, на удивление маленький, и смотрел мне вслед. Воротник поднят, плечи опущены. Руки глубоко засунуты в карманы. И все-таки нет, не такой уж невредимой вышла я из этой истории.

# *Глава 16*

Полиция так и не поймала Джейка Симмса. Кажется они прекратили поиски. Во всяком случае, я сказала им, что он отправился в Техас.

В бывшей маминой комнате появился новый жилец, алкоголик со Скамьи Кающихся, в прошлом оперный певец. Его зовут мистер Бентам. Когда он не пьет, голос у него чудесный. Мисс Фезер, как и прежде, живет о нами, а доктор Сиск съехал. В июле прошлого года он женился на какой-то прихожанке и живет теперь в большом одноэтажном особняке на другом конце Клариона.

Джулиан между приступами депрессии по-прежнему работает в радиомастерской; Селинда по-прежнему парит в облаках, то приближаясь к нам, то отдаляясь. Джиггза никто еще у нас не потребовал. А вот Лайнус перестал мастерить кукольную мебель и переключился на самих кукол: он делает теперь крохотных деревянных человечков с подвижными конечностями и вращающейся головой. Суставы у них из кусочков булавок. Лица разрисованы иголкой, обмакнутой

в тушь. У каждой куклы своя внешность, свой цвет волос, своя одежда, но лица у всех удивленные, словно они никак не могут понять, каким это образом они здесь очутились.

Я по-прежнему передвигаю по студии свой аппарат, запечатлеваю людей вверх ногами в необычных нарядах. Но мне кажется, взятые напрокат медали говорят о них больше, чем они сами думают. А Сол все так же крепко держится за кафедру, изучает своих прихожан. И, конечно, видит их сквозь собственную призму — равно правдиво и ошибочно.

Временами, когда Солу не спится, он поворачивает голову на подушке и спрашивает: «Ты не спишь?» Может, прошедший день был для нас тяжелым: ссоры, недомолвки, разногласия; может, мы пришли еще к одному невидимому разрыву или к небольшой перестройке в наших отношениях. Он лежит на спине в своей старой, деревянной, похожей на розвальни кровати и размышляет: образуется ли в конце концов наша жизнь? Все ли в порядке у него, все ли в порядке у меня? Счастливы ли мы хоть немного? «Может, нам стоит отправиться в путешествие? — говорит он. — Раньше тебе так хотелось этого, правда?»

Но я говорю: нет, не стоит. Не вижу в этом ни-

какой надобности. Мы путешествуем всю жизнь, и путешествие это продолжается. Мы не можем остаться на одном месте, даже если бы и захотели. Спи, говорю я.

И он засыпает.